



ЮРИЙ КЛАРОВ,  
АНАТОЛИЙ БЕЗУГЛОВ  
**КОНЕЦ ХИТРОВА  
РЫНКА**

ЦЕНТРОПОЛИГРАФ



**Юрий Михайлович Кларов**  
**Анатолий Алексеевич Безуглов**  
**Конец Хитрова рынка**  
Серия «Классическая библиотека  
приключений и научной фантастики»

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=48791462](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48791462)*

*Конец Хитрова рынка: ЗАО Центрполиграф; М.; 2020*

*ISBN 978-5-9524-5354-8*

### **Аннотация**

В трилогию Юрия Кларова и Анатолия Безуглова входят повести «Конец Хитрова рынка», «В полосе отчуждения» и роман «Покушение». В них рассказывается о работниках уголовного розыска в первые годы советской власти. Авторам удалось передать характер изображаемой эпохи, ее атмосферу, своеобразие быта, а главное – раскрыть революционный героизм молодежи.

# Содержание

Конец Хитрова рынка	6
1	6
2	13
3	20
4	29
5	36
6	44
7	52
8	59
9	69
10	77
11	85
12	93
13	101
14	107
15	115
16	124
17	137
18	144
19	151
20	160
21	167
22	175

23	185
24	193
25	198
26	206
27	211
28	217
29	225
30	230
31	237
32	245
33	252
34	261
35	267
Конец ознакомительного фрагмента.	270

**Юрий Михайлович Кларов,  
Анатолий  
Алексеевич Безуглов  
Конец Хитрова рынка**

© Ю.М. Кларов, А.А. Безуглов, 2020

© ЗАО «Центрполиграф», 2020

© Художественное оформление серии, ЗАО «Центрполиграф», 2020

# Конец Хитрова рынка

## 1

Я верю в призвание поэта, инженера, музыканта, агронома. Но в словах «прирожденный солдат» или «сыщик» мне всегда чудится фальшь. Может быть, я ошибаюсь, но ведь солдат по призванию должен любить убивать, а работник уголовного розыска – копаться в социальной грязи, отбросах, получать удовольствие от общения с людьми с искаленной психикой и извращенными взглядами на жизнь. И вот сейчас, сидя за письменным столом, я невольно перебираю в памяти всех, с кем мне приходилось работать бок о бок в 1918–1919 годах. Кто из них был сыщиком по призванию? Виктор Сухоруков? Нет, он мечтал стать механиком и даже тогда находил время для учебников по математике и физике. Груздь? Сеня Булаев? Даже знаменитый Савельев, проработавший около двадцати пяти лет в сыскной полиции, тяготел к специальности, которая не имела ничего общего с его повседневными обязанностями. Часами он возился с коллекцией насекомых. В его квартире ширмой был отгорожен специальный угол, где хранились коробки, банки и ящики с пауками, бабочками, жуками. Савельев мечтал о том времени, когда, выйдя на пенсию, он наконец сможет без всяких помех

сесть за монографию о жизни скорпионов, которая должна была обессмертить в науке его имя...

Но все мы оказались сотрудниками Московской уголовно-розыскной милиции и добросовестно выполняли свой долг, потому что так было нужно. В то время токари становились директорами банков, вчерашние мастера возглавляли заводы, а солдаты командовали армиями...

Октябрьскую революцию я встретил гимназистом выпускного класса Шелапутинской гимназии. Я готовился к поступлению на филологический факультет, но филологом я не стал, а гимназию так и не окончил.

В тот день первым должен был быть урок французского языка. Но неожиданно вместо мосье Боруа в дверях появилась тощая фигура директора гимназии Шведова.

Класс неохотно встал.

– Садитесь, господа, садитесь! – махнул рукой Шведов и с обычной кислой улыбкой, за которую его прозвали Лимонном, стал вглядываться в настороженные лица гимназистов. По тому, как Лимон вертит в руках взятый со стола кусочек мела, видно было, что он волнуется.

– Господа! – торжественно начал он. – По поручению педагогического совета я уполномочен сделать вам важное сообщение...

– Раз поручили, валяй! – снисходительно поощрил чей-то голос.

Шведов сделал вид, что ничего не слышал: после Фев-

ральской революции дисциплина в гимназии, особенно в старших классах, основательно расшаталась. Гимназисты, как само собой разумеющееся, предлагали преподавателям закурить. Замок карцера, которым теперь не пользовались, заржавел, а самой гимназией фактически правил совет учащихся, вмешивавшийся во все без исключения дела.

– Господа! – повторил Шведов. – Вы надежда отечества...

– Ого! – искренне восхитился тот же голос.

Но на него зашикали.

– Вы новое поколение русской интеллигенции, которая имеет вековые традиции служения своему народу. И я не сомневаюсь, что вы меня поймете. Произошла трагедия. Мы с вами переживаем трудное время, когда грубо попираются принципы гуманности и свободы. Германские агенты, щедро финансируемые императором Вильгельмом, не только сеют в умах смуту, но и пытаются навязать многострадальному русскому народу кровавую диктатуру.

По классу прошел гул. Называть большевиков германскими агентами не стоило. В эти сказки никто уже не верил. Шведов почувствовал свою ошибку. Но менять стиль речи уже было поздно.

– Сейчас, в эту минуту, – продолжал он, – когда я беседую с вами, вожди русской демократии томятся в большевистских застенках, исторические залы Зимнего дворца подвергаются разграблению, фронт деморализован, скоро враг будет здесь, в центре России. И я понимаю чувства поэта-пат-



риота, который пишет:

С Россией кончено. На последях  
Ее мы прогалдели, проболтали,  
Пролузгали, пропили, проплевали,  
Замызгали на грязных площадях...

В классе зашумели. Поднялся председатель совета гимназии Никольский, спокойный, медлительный.

– Господин Шведов, – официально обратился он к директору, – нам ваши политические взгляды известны, и они нас не интересуют. Насколько мы вас поняли, вы собирались сделать нам сообщение?

– Вы меня правильно поняли, – сухо подтвердил Шведов, – но я хотел предварительно объяснить вам мотивы, которыми руководствовался педагогический совет, решивший не сотрудничать с большевиками, узурпировавшими государственную власть. По призыву Всероссийского учительского союза преподаватели нашей гимназии с сегодняшнего дня объявили забастовку протеста.

– Меня удивляет... – начал было Никольский, но его прервал Васька Мухин, здоровенный детина, уже второй год отбывавший повинность в восьмом классе.

– Тоже испугал! – пробасил он, поглядывая маленькими смешливыми глазками на директора. – По мне, хоть всю жизнь бастуйте!

– Ура! Да здравствует вечная забастовка! – неожиданно

заорал его сосед, и весь класс задрожал от хохота.

Ошеломленного директора проводили криком и улюлюканьем. Кто, подвывая, отбивал кулаками на парте «Цыпленка жареного, цыпленка пареного, который тоже хочет жить», кто хрюкал, а кто от избытка восторга просто стучал ногами по полу.

В дверях показалось испуганное лицо классного надзирателя и сразу же исчезло.

Так эта новость была встречена почти во всех классах. Последние месяцы жизнь гимназии все равна шла кувырком. Преподаватели опаздывали на уроки и ничего не задавали на дом. Старшеклассникам было не до занятий: они беспрерывно бегали с одного митинга на другой или до хрипоты спорили в различных кружках и клубах, не недостатка в которых не было. Союзы, группы, общества и объединения возникали как грибы после дождя. Существовали Союз учащейся молодежи, Общество нанимателей комнат, углов и коек, Группа обывателей Хамовнического го района, Союз домовладельцев, Союз киновладельцев, Объединение дворников и домашней прислуги.

Наша гимназия тоже не отставала. Помимо совета гимназии у нас был совет учащихся старших классов, совет учащихся младших классов и многочисленные «политические фракции»: большевиков, кадетов, эсеров, анархистов и, наконец, монархистов, в которую входили только двое – франтоватый Николай Пилецкий и его друг Разумовский, дегене-

ративный парень с красной физиономией, усыпанной угрями.

Каждая фракция требовала себе мест в гимназических советах. Иногда накал политических страстей доходил до потасовок, во время которых больше всего, разумеется, доставалось самой малочисленной фракции – монархистам. Пилецкий и Разумовский постоянно ходили с синяками и перед самой забастовкой преподавателей смалодушничали – подали заявление о приеме во фракцию кадетов. Особенно терроризировал педагогов совет гимназии, который предъявлял им самые жесткие требования. Одним из них было – ставить в балльниках двойки и единицы только с санкции совета. Членов советов к доске не вызывали: преподаватели прекрасно понимали, что заниматься наукой у них просто нет времени.

Какая уж тут учеба!

Но все-таки, когда мы с Никольским вышли в переулок, мы не думали, что навсегда покидаем стены гимназии.

Никольского больше всего возмущало, что педагогический совет принял свое решение без консультации с советом гимназии.

– Им это дело так не пройдет, – говорил он, размахивая офицерской полевой сумкой, приобретенной на толкучке (большинство старшеклассников в знак всеобщей свободы ходили в гимназию не с ранцами, а с портфелями или полевыми сумками). – Мы созовем общее собрание фракций. Думают, что мы до них не доберемся? Ошибаются!

Но ошибался Никольский: фракции больше никогда не собирались, а в гимназии вскоре расположился ревком. Из бывших своих преподавателей я потом встретил только Лимона. Когда мы в двадцатом году вылавливали спекулянтов на Смоленском рынке, я заметил за одним из ларьков притаившуюся сухопарую фигуру в залатанных солдатских штанах.

– А ну, выходи!

Человек нерешительно выглянул, и внезапно на его худом грязном лице промелькнуло подобие знакомой улыбки. Это был Лимон.

– Ничего не поделаешь, надо жить! – развел он руками и, зажав сверток под мышкой, воровски шмыгнул в проходной двор.

Многие из моих гимназических товарищей, спасаясь от голода, уехали на юг, кое-кто вместе с родителями бежал за границу. Члены фракции монархистов – Пилецкий и Разумовский, как мне потом рассказывали, перебрались к генералу Корнилову.

В семнадцать лет, когда голова переполнена грандиозными замыслами, а руки сами ищут себе работы, сидеть без дела трудно. Между тем я совершенно не знал, куда себя девать. С закрытием гимназии как-то оборвались все ниточки, которые меня связывали с товарищами по классу. Раньше, казалось, водой не разольешь. Но кончилась гимназическая жизнь, и у каждого оказались свои заботы, дела. Никольский устроился где-то делопроизводителем. Мухин отправился к отцу в Саратов. Гимназическое содружество рассыпалось как карточный домик, и иногда я даже сомневался, а было ли оно вообще когда-нибудь.

Жил я тогда в Мыльниковом переулке в большой неуютной квартире, совершенно один. Отец, уважаемый в районе врач, умер три месяца назад, а старшая сестра Вера, выйдя замуж, уехала в Ростов, препоручив меня своей приятельнице Нине Георгиевне, женщине лет сорока, толстой, расплывшейся, с большими добрыми глазами, которая, добросовестно выполняя взятые на себя обязанности, бывала у меня не реже двух раз в неделю. Эти визиты были до предела нудными.

Я ничего не имел против Нины Георгиевны, но все-таки к ее приходу всегда старался улизнуть на улицу. И часами бродил по городу, который выглядел каким-то непривычным,

помолодевшим. А потом, когда ноги начинали гудеть от усталости и рот наполнялся голодной слюной, я возвращался к себе, ел, листал первую попавшуюся на глаза книгу и снова уходил, для чего-то тщательно запирая входную дверь. Меня завораживала гулкая жизнь улиц, ее лихорадочный ритм.

Во время недавних боев Москва пострадала не сильно, во всяком случае меньше, чем этого можно было ожидать. Но так как самые ожесточенные схватки были в центре, то разрушение сразу же бросалось в глаза. Был разбит снарядом один из куполов храма Василия Блаженного, Спасская башня, пробита крыша «Метрополя». Еще неделю назад Тверская была завалена бревнами, досками и усыпана битым стеклом. Теперь ее расчистили. Об октябрьских событиях напоминали только следы пуль на стенах домов да торчащие в окнах вместо выбитых стекол полосатые перины. Весело дребезжал переполненный трамвай. Красногвардейские патрули зябко прятали руки в рукава ватников, пальто и шинелей. По-разбойничьи посвистывал ветер. Несмотря на холод, улицы были многолюдны.

В тот день мне почему-то особенно не хотелось возвращаться домой. И, побродив вдоволь по Тверской, я свернул на Скобелевскую площадь. Здесь митинговали. Прилично одетый господин, вскарабкавшись на постамент, что-то громко говорил, оживленно жестикулируя, стараясь перекричать разношерстную толпу. Тут же красноносая толстуха в ватнике бойко продавала жареные семечки, одновременно

кокетничая с одноруким солдатом. Гонялись друг за другом оборванные мальчишки с красными бантами на картузах. Не обращая ни на что внимания, крутил ручку шарманки горбатый старичок.

Красные, черные, белые, зеленые буквы извещали: «Казино «Рома», Тверская, 35, против Филиппова. Исключительный боевик. Сенсационная картина «Николай II». Народная трагедия в 5 частях. В фойе – концерт Гала. Беспрерывные увеселения от 7 до 11 часов вечера», «Ханжонков. Жемчужина сезона. Боевик. «Сказка любви дорогой. Молчи, грусть, молчи!» С участием королей экрана: Веры Холодной, Максимова, Полонского и Рунича».

Колебался я недолго и, сжав в кармане рубль, отправился в казино «Рома». Сенсационную картину «Николай II» посмотреть стоило.

То были первые годы киноискусства. Но Великий немой уже успел завоевать всеобщее признание. И мы добросовестно ходили на все новые картины с броскими названиями: «Любовь поругана, задущена, разбита», «Слякоть бульварная», «Лестница дьявола». Обычно картины демонстрировались под аккомпанемент рояля, который стоял за сценой. Но были и попытки озвучить хотя бы некоторые события, происходящие на экране. В качестве курьеза одна из московских газет приводила объявление провинциального электротeatра: «Новость звуковых эффектов! Все звуки, как-то: шум ветра, железной дороги, поломка мебели, лесная сире-

на, удар по щеке – получают нажатием кнопки. Голос петуха, лай собаки и шум народа заказываются особо».

В фойе театра, несмотря на предупреждающие надписи, было сильно накурено. Респектабельные котелки соседствовали с голубоватыми студенческими фуражками, солдатские папахи – с дамскими шляпками. После первого звонка я прошел в зал. Сзади меня приглушенно спорили парни в кепках, низко надвинутых на глаза. Некоторых из них я видел у нас в гимназии, они приходили на заседание секции анархистов, кажется, из группы «Ураган».

Одна за другой лампочки в зале начали гаснуть. Пианист заиграл марш. На экране показался царь, рядом с ним шли какие-то дамы.

И вдруг свет снова вспыхнул. На авансцене стоял плечистый человек в ватнике. Он зычно выкрикнул:

– Граждане и товарищи! Попрошу приготовить документы. Проверка.

Публика недовольно зашумела.

– Ищут кого-то, – догадалась пышная дама в ротонде. – О господи!

К выходу, работая локтями, пробирались анархисты. Один из них сильно толкнул меня.

– Поосторожней нельзя?

Он даже не обернулся.

– Не видишь, что ли? Пропускай! – крикнул анархист с выпущенным из-под кепки пшеничным чубом молоденько-



му красногвардейцу.

– Предъявите документы.

– Какие еще документы? – огрызнулся тот.

– Документы! – строже повторил красногвардеец, преграждая проход винтовкой.

– Ты что, гад, измываться вздумал?! Прочь! – заорал чубатый, бешено выкатив глаза. – Прочь, говорю!

Засунув руку в оттопыривающийся карман, он прямо пошел на красногвардейца. Жест чубатого не остался незамеченным. Дама в ротонде взвизгнула. Публика шарахнулась в сторону. Кто-то крикнул:

– У него оружие!

В ту же секунду парень в кожанке, вынырнувший из-за спины красногвардейца, вырвал руку чубатого из кармана и резко вывернул ее за спину.

– Хорошенько общитесь. По-моему, он...

Я не удержался и крикнул:

– Виктор! Сухоруков!

Парень в кожанке обернулся, махнул мне рукой.

Виктор учился в нашей гимназии. Но, когда его отца мобилизовали в армию, ушел на завод. Ко мне он относился покровительственно, и не только потому, что был старше. Он считал меня папенькиным сыном, который еще не знает, почем фунт лиха. Узнав, что Виктор член Союза рабочей молодежи «III Интернационал», я его пригласил как-то на заседание большевистской фракции гимназии.

– Фракция? – изумился он. – А от родителей не нагорит? – И снисходительно добавил: – Ладно, приду. У вас когда начало?

Помню, мы тогда спорили о роли Учредительного собрания, и Никольский все время пытался втянуть в спор Виктора, но тот отделялся только шуточками. Я понимал, что он нас считает просто мальчишками, играющими от нечего делать в революцию, и мне было здорово обидно. Поэтому, когда Никольский сказал, что Сухоруков не теоретик, а практик и звать его на заседание фракции не стоило, я сразу же согласился.

Отец, узнав про мой неудачный опыт, как я выражался, смычки интеллигенции и рабочего класса, долго хохотал.

– Значит, практик, говоришь? – сказал он, все еще улыбаясь, потом его лицо посерьезнело. – А может быть, ты больше прав, чем думаешь. В России привыкли слишком много говорить красивых слов. А Виктор человек действия. Он знает, чего хочет, и знает, как этого добиться.

Эти слова отца словно подтверждались сейчас уверенными, решительными действиями Виктора.

Чубатого обыскали.

– Он самый, – сказал пожилой красногвардеец, бегло просматривая содержимое бумажника задержанного, и обернулся к анархистам, которые громко ругались, но, понимая, что сила не на их стороне, в происходящее не вмешивались. – Что ж вы, товарищи, уголовную шпану покрываете?

– Мы птицы вольные, к нам летят все, кому среди вас тесно! – буркнул кто-то из анархистов, и они, не оборачиваясь, начали спускаться по лестнице.

– Граждане! – крикнул человек в ватнике. – Попрошу без паники. Кого нужно, мы нашли. Это, ежели хотите знать, крупный и зловредный бандит, грабивший трудовой народ. Так что попрошу граждан и товарищей спокойненько занимать свои места.

«Граждане и товарищи» начали шумно рассаживаться.

– Я только взглянула, сразу же поняла, что это бандит, – радостно говорила дама в ротонде своему спутнику, чем-то похожему на Дон Кихота. – Вы, Николай Иванович, на всякий случай бумажник проверьте: он за вами сидел.

Когда бандита, подталкивая в спину, вывели, я подошел к Сухорукову.

– Ну как фракция? Заседает?

– Иди к черту. Ты же знаешь, забастовка.

– Верно, не учел. Послушай, здесь мы не поговорим, некогда. Заходи лучше ко мне завтра к концу дня. Я теперь в уголовном розыске работаю.

– Полицейским заделался?

– Именно. А что, не нравится? – Он дернул меня за надорванный козырек фуражки (в гимназии надорванный козырек считался шиком) и уже на ходу бросил: – До завтра.

Найти Сухорукова оказалось не так-то просто. В кабинете дежурного уголовного розыска томилось несколько человек. Дежурный, молодой человек с черными подбритыми усиками и бачками, устало морщил низкий лоб.

– Минуточку, мадам, минуточку, – слезливым голосом уговаривал он шумливую, напористую бабу в белом шерстяном платке. – Не надо волноваться. Давайте разберемся. Ничего страшного не произошло – рядовой, ординарный грабеж. У нас ежесуточно регистрируются сотни подобных происшествий.

Но на женщину это утешительное сообщение никакого впечатления не произвело.

– А по мне хоть тыщи происшествий! – кричала она в лицо дежурному, который мученически морщился. – Вы мне лучше скажите, господин хороший, кто мою шубу носит? Кто мои сиротские деньги по кабакам пропивает?! Ага, молчите? Почему мазурики по сей день не арестованы?

– Потому что их пока не нашли, – с подкупающей откровенностью объяснил дежурный.

– Не нашли, стало быть? – задергала головой баба. – А чего же я вам за вашего кобеля – Треф, что ли? – пятьдесят целковых отвалила? «Найдем, отыщем, будьте спокойны», – передразнила она кого-то. – Черта лысого нашли! Платила я

за сыскную собаку?

– Да, за использование сыскной собаки-ищейки вы платили, – согласился дежурный.

– А толку? Это как понимать? Там мазурики облеглают, тут – полицейские. Это кто же разрешил трудовой народ с двух концов грабить? Свобода сейчас или не свобода?

Отделавшись кое-как от надоедливой посетительницы, дежурный пригладил напوماженные бачки и выдавил любезную улыбку.

– Прошу, господа. Кто следующий?

С дивана поднялся благообразный старик в вицмундире.

– Присаживайтесь. Чем могу быть полезен? Кража?

– Убийство, – глухо сказал старик и закашлялся. – Дочь убили.

– Да, да, такое несчастье! А где это произошло, в Хамовниках или в Марьиной роще?

– В «Эрмитаже».

– В «Эрмитаже» на этой неделе у нас зарегистрировано два убийства. Простите, как ваша фамилия? – Дежурный начал быстро перелистывать толстую книгу, лежащую перед ним на столе.

Я вышел в коридор. По лестнице спускался красногвардеец.

– Где можно найти товарища Сухорукова?

– Да я не из тутошних, – ответил он. – Вы в дежурку зайдите, там скажут.

Но в дежурную комнату возвращаться мне не хотелось. Я ткнулся в первую попавшуюся дверь, и меня оглушил пулеметный стрекот машинок.

— Господин гимназист, сюда нельзя, — обернулся сидевший спиной к двери писарь с выложенным на лбу локоном. — Посетителей принимают внизу.

— Мне нужен Сухоруков.

— Сухоруков? — Писарь выпятил нижнюю губу. — А где он числится? Есть у нас, к примеру, статистический отдел, счетный стол приводов, хозяйственная часть, отдел розыска... Много чего есть. — Он торжествующе посмотрел на меня, получая видимое удовольствие от сложности структуры учреждения, в котором он работает.

Обойдя еще несколько комнат и уже потеряв всякую надежду разыскать Виктора, я носом к носу столкнулся с ним в коридоре.

— Пошли ко мне.

Кабинет Сухорукова оказался небольшой комнат кой, вернее частью комнаты, перегородженной деревянной стенкой.

— Ну, что собираешься делать?

С таким же успехом этот вопрос я мог задать сам себе. Действительно, что я собираюсь делать?

— Еще не знаю. Наверно, в Ростов к Вере уеду.

— Хороший город. Солнечный. — В голосе Виктора мне почудилась ирония. — Это что, вся наша «большевистская

фракция» решила на юг смотреться, подальше от греха? Очень благоразумные мальчики.

– Ну это ты брось.

– А что? Может быть, попробуем?

Виктор скинул куртку и засучил рукава рубашки. В гимназии у нас было повальное увлечение французской борьбой. Я считался чемпионом класса. Но с Сухоруковым мне еще бороться не приходилось. Я втянул голову в плечи, расставил ноги и...

– Алле гоп!

В следующую секунду я беспомощно забарахтался в руках Виктора. Прием назывался двойным нельсоном. Я напряг бицепсы, пытаюсь разорвать кольцо рук, но безуспешно. Шершавые ладони, сплетенные вместе, все сильнее и сильнее нажимали сзади на шею.

– Сдаешься?

– Сдаюсь, сдаюсь, дубина ты стоеросовая! – взвыл я.

– То-то, – ликовал Виктор за моей спиной. – А ругаться вслух побежденным не положено, они только про себя ругаются. Проси пощады, презренный!

Для просьбы о пощаде существовала освященная многими поколениями гимназистов формула, и я неохотно забубнил:

– О могущественнейший из могущественнейших (брось, Витька!), о сильнейший из сильнейших, о справедливейший из справедливейших, о умнейший из умнейших (послушай,

ты мне шею свернешь»), признаю тебя победителем в честном бою и обязуюсь свято, не жалея живота своего, выполнять все, что ты прикажешь или просто скажешь. А если не исполню, то пусть мне устроят темную или наплюют на самую маковку, и пусть я, клятвопреступник, сделаюсь классным надзирателем за грехи мои. Все. Пусти!

Мой мучитель отпустил меня, и мы, красные, распаренные, уселись друг против друга.

– Вот так, папенькин сынок, жидковат ты, брат, жидковат, – усмехнулся Виктор.

– Ну ты небось тоже как самовар пыхтишь.

Мы закурили. Виктор, с блаженством затягиваясь папироской, искоса поглядывал на меня и улыбался. Чувствовалось, что эта разминка, напоминавшая о гимназических годах, доставила ему немалое удовольствие. Глаза его подобрили, и в манере держаться появилось что-то мальчишеское и немножко наивное. Потом, погасив папиросу о край стола, он спросил:

– Отрезали?

– Отрезали.

Это означало, что дань старому отдана и предстоит серьезный разговор.

– Возьми листок бумаги и ручку.

Еще не понимая, чего он хочет, я пододвинул к себе стопку бумаги.

– Пиши: «Начальнику уголовно-розыскного подотдела ад-



министративного отдела Московского Совета от гражданина Белецкого Александра Семеновича. Прошение. Прошу зачислить меня на одно из вакантных мест при вверенной Вам милиции».

Я отложил в сторону ручку.

– Ну, знаешь, ты сегодня что-то слишком весело настроен.

Шутки шутками, но...

– А я не шучу, – сказал Виктор.

Несколько секунд я изумленно смотрел на серьезное, густо поперченное веснушками лицо приятеля.

– Нет, ты серьезно?

– Вполне. Нам нужны люди. А парень ты честный, член «большевистской фракции», – губы Виктора задрожали в сдерживаемой улыбке. – Знаю я тебя не первый год, и отец у тебя был хорошим стариком.

– Но ведь я ни черта не понимаю в... – Я чуть было не сказал «в полицейском деле», но вовремя спохватился. – Я ведь ничего не понимаю в этом деле.

– Научишься. Главное – желание. Не боги горшки обжигают.

Кем я только не мечтал быть в раннем детстве! И трубо-чистом, и водолазом, и кондуктором. Но даже тогда мне не приходило в голову, что я могу стать сыщиком. Во втором и третьем классе, правда, как и все мои сверстники, я зачитывался похождениями Шерлока Холмса и Рокамболя, и вдруг совершенно, казалось, забытое и давно похороненное где-то

в дальнейшем уголке сознания вновь ожило и обернулось реальностью.

— Ну как? Едешь в Ростов или остаешься? — спросил Виктор, наблюдавший за выражением моего лица.

— Какой уж тут Ростов! — махнул я рукой. — Что еще нужно?

Тут же я заполнил и анкету. Впрочем, слово «анкета» в обиход тогда еще не вошло. При царе существовал «формулярный список», а Временное правительство ввело «опросный лист», которым и пользовались пока во всех учреждениях. Он был составлен по лучшим образцам западной демократии, но с учетом русских особенностей. Поэтому в нем на всякий случай стояли помимо других и такие щекотливые вопросы, как сословие и вероисповедание, но зато в скобках указывалось: «Заполняется по желанию». Опросный лист заканчивался знаменательной фразой: «Правильность показанных в настоящем опросном листе сведений о моей личности подтверждаю честным словом». Вот она, новая, демократическая Россия!

Затем мы вместе с Виктором пошли к начальнику отдела личного состава Груздю. Он оказался матросом. Груздь восседал за громоздким двухтумбовым столом, на котором рядом с письменным прибором из розового мрамора возвышались буханка ржаного хлеба и вместительная жестяная кружка с чаем. На сейфах валялись в художественном беспорядке шинель, бушлат, бомбы, рваная тельняшка и пара сапог.

Носок одного из них был грозно разинут, и в его темной пасти поблескивали зубами сказочного дракона гвозди. Увидев Виктора, матрос отложил толстый карандаш, которым, как я успел заметить, рисовал на бумаге, покрывающей стол, чертиков, и грузно встал.

— Здоров! Закурить есть? — спросил он Виктора и брезгливо поморщился, когда тот достал пачку папирос. — Нет, я только махру признаю... Красота? — кивнул Груздь на стену, где из массивной позолоченной рамы кокетливо смотрела жеманная красавица в наглухо закрытом черном платье. — Одежду я сам дорисовал, — похвастался он, — а то она почти что голая была. — И пояснил: — Буржуазия, она приличиев не соблюдает... Из буржуев? — На этот раз вопрос был адресован мне.

— Нет, — ответил за меня Виктор. — Вот его опросный дист.

— Давай, давай.

Водя по строчкам пожелтевшим от махорки пальцем. Груздь внимательно прочел анкету и, видимо, остался доволен.

— То, что ты интеллигент, это, конечно, арифметический минус, — сказал он. — Но это от тебя не зависит. Если бы мой батяка был не крестьянином, а инженером, я бы тоже стал интеллигентом. Роковая игра случая! То, что ты одинок, в смысле холост, это, конечно, арифметический плюс и очень положительный фактор. Ухлопают бандиты, и никто горячих слез лить не будет. А то тут одного вот такого же моло-

денького вчера на Сухаревке подстрелили, так сюда вся его родня сбежалась. То-то крику было!

– Ну, ну, брось запугивать, – усмехнулся Виктор. – Тебя послушать, можно подумать, что у нас каждую неделю по десять сотрудников убивают!

– А почему маленько и не попугать? – На толстых щеках Груздя появились смешливые ямочки. – Не куличи печем – революционный порядок наводим! Надо рассуждать диалектически, пусть знает, на что идет. А то потом захочет на попятную, ан поздно будет! – и, обернувшись к своему подчиненному, который молча сидел, с любопытством прислушиваясь к разговору, сказал: – Чего уши развесил? Оформляй приказом.

На следующий день я уже приступил к «исполнению обязанностей агента третьего разряда».

Узнав о том, что я начал работать в уголовном розыске, Нина Георгиевна только вздохнула. Но этот короткий горестный вздох выражал многое. Ее грустные большие глаза как бы говорили: «Бедная Верочка, сколько надежд, и вот, пожалуйста... Не учитель, не врач, а полицейский. Пропавшее поколение... А время страшное: и хлеб никуда не годится, и продуктов все меньше, и дороговизна растет. Революция! Да разве я имею что-нибудь против революции? Хотите революцию – пожалуйста, но ведь все нужно делать как-то культурно, основательно...»

Зато жильцы дома отнеслись к этой новости иначе. Я стал популярной личностью. Даже председатель домкома, тонкий как жердь инженер Глушенко и тот зашел ко мне как-то поговорить о графике дежурств. А дворник Абдулла теперь здоровался первым и называл меня не «господин гимназист», а Александр Семенович. Если бы я сказал, что меня это совершенно не трогало, я бы солгал. Трогало. Еще как трогало! Более того, я проникся исключительным уважением к собственной персоне, и, дело прошлое, в моем ломающемся голосе появился металл. По улицам я теперь шел, поднимая воротник шинели и бросая на прохожих пронзительные взгляды. Вид у меня, наверно, был донельзя комичный. Правда, период «вживания» в образ Шерлока Холмса про-

должался сравнительно недолго, тем более что работа давала для этого мало пищи. Никто не предлагал мне раскрывать загадочные преступления, обезоруживать опасных преступников и участвовать в погоне за бандитами. На мою беду, кто-то пришел к выводу, что у меня красивый почерк, и теперь меня заставляли переписывать протоколы, акты, заключения; а в свободное время я помогал старому сотруднику розыска Савельеву приводить в порядок картотеку дактилоскопических карточек.

У Савельева было совсем непримечательное лицо с нездоровой, желтоватой кожей, которая обвисала складками наподобие брылей бульдога, серые, водянистые глаза. Иногда он, казалось, совсем отключался от всего, что происходило в комнате, и, подперев щеку рукой, не мигая смотрел куда-то в окно. Вялый, флегматичный, всегда скучный, он явно не соответствовал образу интеллектуального сыщика, который создало мое мальчишеское воображение. Между тем Савельев был далеко не заурядной личностью и считался одним из немногих крупных специалистов сыскного дела в России. Он великолепно знал уголовный мир и обладал феноменальной памятью, о которой рассказывали чудеса. Стоило ему якобы мельком увидеть человека, и он мог через десять — пятнадцать лет безошибочно сказать, где, когда и при каких обстоятельствах он его встречал.

К Савельеву приходили советоваться и агенты, и субинспектора, и инспектора. Он был своего рода справочным бю-

ро. Частенько у него бывал и Горев, инспектор Рогожско-Симоновского района. Насколько Савельев был незаметен, настолько Горев обращал на себя внимание. Это был сдержанный человек средних лет, с красивым надменным лицом, обрамленным аккуратно подстриженной курчавой бородкой. В те годы многие «бывшие» пытались подладиться под новых хозяев страны. Они не брились, ходили в грубых солдатских гимнастерках с засаленными воротниками и к месту и не к месту щеголяли отборным матом, а некоторые из них надели и кожаные куртки. Такие куртки были лучшим свидетельством политических взглядов, недаром, когда человек надевал кожаную куртку, о нем говорили: «Окомиссарился». Горев был не таким. Он везде и всюду подчеркивал свое дворянское происхождение и в разговоре между прочим любил вернуть: «Мы, дворяне». Одевался он тщательно, белье его всегда отличалось белизной, а в галстук поблескивал бриллиант булавки. Он со снисходительной иронией относился ко всем этим фабричным и мастеровым, которые почему-то решили, что они сами смогут управиться с многочисленными и сложными делами великой России, а пока суд да дело драпают от немцев и не в состоянии навести самый примитивный порядок в стране. Свое презрение к «новым» он подчеркивал иронической вежливостью, которая иной раз ранила сильнее откровенной грубости.

– Очередной представитель революционного пролетариата? – спросил как-то Горев Савельева и кивнул в мою сторо-

ну.

– Гимназист, – вяло обронил Савельев.

– Позвольте поинтересоваться, из какого класса выгнали?

По математике срезались или по русской словесности?

Я почувствовал, что еще слово, и я сорвусь. Видимо поняв это, в разговор вмешался Савельев:

– Сейчас же гимназии закрывают. Учителя забастовку объявили. Вот он и поступил к нам. Паренек старательный, грамотный.

– Даже корову через «ять» не пишет? Трогательно. – Горев присел и, растягивая слова, сказал: – Вчера мне один из «товарищей» протокол осмотра места происшествия представил. Уникальнейший документ. Если не ошибаюсь, так сформулировано: «Обнаружен труп мужчины средних лет с множественными поранениями. Одна рана величиной в гривенник, другая в пятиалтынный, а всего ран на рубль двадцать...» Феноменально? Я ему посоветовал немножко грамотой заняться. Оскорбился. «В такой, – говорит, – исторически острый момент я не имею полного права всякой ерундистикой заниматься. Уничтожим всех буржуев, тогда, – говорит, – и грамоте обучусь». Так и сказал. Очень энергичный молодой человек и с пролетарским правосознанием. Ну а пока указаний насчет буржуев нету, он потихоньку уничтожает, так сказать, приметы буржуазного быта. Между прочим, вчера наблюдал, как старинную мебель из особняка Морозова тащил. Дров, видите ли, в Москве не хватает, топить нечем.



Слова Горева раздражали, но в то же время в них было что-то такое, что заставило меня промолчать. За язвительностью Горева чувствовался надлом, горечь человека, который внезапно почувствовал себя за бортом жизни. В Гореве было что-то и от Нины Георгиевны, старой акушерки, которая была не против революции, но хотела, чтобы все делалось «культурно, основательно»...

Когда я заговорил о Гореве с Виктором, который последнее время часто у меня ночевал, он усмехнулся:

– Все в психологические тонкости играешь? Надрывы? Надломы? Роль русского интеллигента в революции? Дурак твой Петр Петрович, вот и все!

– Почему «мой»?

– Мой, твой – не все ли равно? Суть не в этом. Дурак он, вот в чем суть! Недоучки, видите ли, с бандитизмом борются, образования им не хватает. Стульев ему жалко. «Ах, ах, гибнет великая Россия!» А кто этот стул сделал? Он, что ли? Да он и рубанка никогда в руках не держал, клею столярного не нюхал, верстаком только на картинке любовался! Всю его старинную мебель крепостные делали, а потом ее фабричные мастерили. А после революции, когда они ее для себя производить будут, хуже сделают, что ли?

– Так по-твоему получается, что сейчас все нужно жечь и разрушать?

Виктор досадливо поморщился.

– А еще обиделся, что я Горева твоим назвал. Тоже мне

член «большевистской фракции»! Разве я об этом говорю? Анархисты кричат о всеобщем разрушении: «Круши города! Ломай железные дороги!» Мы же к этому не призываем. Я о другом. Когда налетает ураган, он не только гнилые деревья ломает, он порой и здоровые с корнем выворачивает. Вот что я хочу сказать. Понял?

Виктор немного успокоился и говорил со мной, как нянька с бестолковым ребенком, который не понимает или не хочет из упрямства понять самых обычных вещей.

– Вот я летом гостил у дяди в деревне, – продолжал он, – так они там усадьбу барскую сожгли. А в усадьбе той библиотека на сорок тысяч томов – старинные рукописи, и не на бумаге, а на коже... Как она называется?

– Пергамент.

– Вот, он самый. Ну, я их, конечно, пытался сагитировать, чтоб они хоть библиотеку не жгли. Объясняю им, что она и свободному народу пригодится. Куда там! Чуть мне самому голову не свернули. А книги облили керосином и сожгли. Варварство? Варварство. Только дядя мне потом и говорит: «Ты не думай, что я книг не люблю. Я к грамоте склонен и детей всяким наукам обучить стараюсь. А эти книги все одно жечь буду. Потому как от них запах барский, а мужик этого запаха теперича никак перенести не может». Вспомнил я все, что они претерпели от помещика, и подумал, что по-своему они, может быть, и правы. А Горев этого не понимает и не хочет понять...

Виктор успокоился так же внезапно, как и вспыхнул. Присев у печурки, которую я приспособил с наступлением холодов недалеко от наружной стены на листе жести, он спросил:

– Не надоело еще бумаготворчеством заниматься?

– Надоело.

– Мы завтра вечером на Хитровку едем. Новая банда появилась – Кошельков, Сережка Барин, еще человек двадцать. А ниточка, конечно, на Хитровку. Надо пощупать. Хочешь?

Об этом Виктор мог бы меня и не спрашивать...

Хитров рынок издавна был пристанищем всех уголовных элементов города, которые ютились здесь в многочисленных ночлежках. Притоны чуть ли не официально делились на разряды. В высших обитали фальшивомонетчики, налетчики, медвежатники, крупные домушники; в средних находили все, что им требовалось, ширмачи, поедушники, голубятники, а ночлежки низшего разряда заполнялись преимущественно нищими, портяночниками и мелкой шпаной.

В домах Румянцева, Ярошенко и Кулакова имелись и отдельные комнаты – «нумера», которые предоставлялись почетным гостям. Здесь находили себе приют международные взломщики сейфов типа Вагновского и Рылдлевского, расстрелянных в 1919 году, известные бандиты, как, например, Павел Морозов, Котов и Мишка Чума, фальшивомонетчики и крупные авантюристы.

На Хитровом рынке большими партиями скупали краденое, нюхали кокаин, ночи напролет играли в штосс, железку, ремешок, пили смирновку и ханжу. Здесь же разрабатывались планы наиболее крупных дел.

Хитрованцы не без юмора называли рынок «вольным городом Хивой», и это название довольно точно отражало его положение. Полиция сюда заглядывала редко, и рынок жил по своим собственным законам. Когда в 1914 году Горев

представил начальнику сыскной полиции проект ликвидации рынка, тот улыбнулся и с сожалением сказал:

– Идеалист вы, Петр Петрович. Неисправимый идеалист.

Ликвидации Хитровки добивался не только Горев. Но рынок, как неприступная крепость, выдерживал все штурмы. Формально его существование оправдывали тем, что он является поставщиком рабочей силы. Действительно, артели рабочих, приезжавших в Москву на заработки, первым делом шли на Хитровку, где их уже поджидали подрядчики. Но соль была не в этом. Просто Румянцев, Ярошенко и Кулаков, которым дома на Хитровке приносили сказочные доходы, всеми силами противились уничтожению рынка, используя для этого свои связи в городской думе и в канцелярии генерал-губернатора. Да и сами обитатели Хивы хорошо знали, как надо поддерживать хорошие отношения с сильными мира сего.

Особенно забурлила жизнь на Хитровке после Февральской революции, когда Временное правительство объявило всеобщую амнистию. В цветасто написанном указе сообщалось, что амнистия должна способствовать «напряжению всех творческих сил народа», а амнистированные уголовники призывались к защите родины и отечества, для «утверждения законности в новом строе». Только из московских тюрем было выпущено более трех тысяч опасных преступников. Они не имели ни денег, ни одежды, их трудоустройством никто не интересовался. И амнистированные вместо

«утверждения законности в новом строе» занялись своим привычным ремеслом. За первую половину 1917 года число опасных преступлений в Москве увеличилось в четыре раза, к июню в городе уже действовало более тридцати крупных банд. На Хитров рынок потянулись «обратники» – налетчики и домушники, ширмачи и мокрятники. Трактиры «Каторга», «Сибирь», «Пересыльный» буквально ломились от народа. Тут и там мелькали раскрашенные физиономии хитровских «принцесс», вертлявые фигуры «деловых ребят», разгоряченные азартом и самогоном лица шулеров. Теперь обыватель боялся проходить мимо Хитровки не только вечером или, не дай бог, ночью, но и днем. Здесь могли раздеть, ограбить, избить, а то и попросту придушить где-нибудь во дворе ветхого дома. Частыми посетителями Хитровки стали анархисты. В ночлежках можно было встретить и бравого матроса в широченных клешах с нашитыми перламутровыми пуговичками, и истеричного гимназиста, на пояске которого необычным ожерельем болтались бомбы. Анархисты кричали о трагической судьбе людей социального дна, об их талантливости и уме, не ограниченных никакими социальными предрассудками, о том, что именно они, хитрованцы, призваны сыграть немалую роль в мировой революции. Красивые, громкие слова падали на благодатную почву. Индивидуалисты по натуре, хитрованцы тяготели к анархистской вольнице. При разоружении анархистских групп нам потом нередко встречались рыцари уголовного мира. Одно

время на Хитровке был даже создан «Анархистский союз молодежи». Основным его лозунгом было: «Резать буржуев до полного торжества всемирной революции!» Правда, союз просуществовал недолго, если не ошибаюсь, месяца два-три. Некоторые его члены были арестованы МЧК и уголовным розыском, а большинство разбежались.

Сразу же после Октябрьской революции Советская власть вплотную занялась Хитровкой. Здесь изъяли значительную часть спиртных напитков, арестовали многих скупщиков краденого – барыг, закрыли официальные игорные притоны. На Хитров рынок были направлены рабочие агитаторы, которые призывали жителей Хивы кончать со старой жизнью, обещая им помощь. Все это, разумеется, не могло не дать результатов, но Хитровка по-прежнему оставалась центром преступного мира Москвы, да и, пожалуй, всей России.

За время своей недолгой работы в розыске я уже достаточно наслушался различных историй, связанных с жизнью Хитровки. Слова «Хитров рынок» часто мелькали в приказах, их произносили на совещаниях и заседаниях. Большинство ЧП, как их называл Груздь, также были связаны с Хитровкой. То атаман рынка Разумовский убил двух милиционеров, то знаменитый Мишка Рябой хотел вырезать семью Горева, то к нам поступали сведения, что после ограбления в Петрограде здания сената все ценности какими-то неизвестными путями были переправлены на Хитровку и золотую статую Екатерины II стоимостью в пятьсот тысяч рублей и

ларец Петра Великого видели у содержателя чайной Кузнецова. А дня три назад с Хитровки привезли трупы агента I разряда Тульке и матроса Павлова из боевой дружины. У обоих к груди были прибиты гвоздями дощечки с надписью: «Легавым собачья смерть». Убийц так и не нашли...

Для меня предстоящая операция на Хитровке была, по существу, первым серьезным испытанием. И я сильно волновался. Но больше всего я боялся, что это волнение может кто-либо заметить. Поэтому в тот день я держался подчеркнуто весело, напуская на себя этакую бесшабашность: дескать, жизнь – копейка, а судьба – индейка. Смеялся я по всякому поводу и без повода. Правда, насколько этот смех выглядел естественным, судить не берусь. Видимо, не очень, потому что Арцыгов, командир конвойного взвода, маленький, верткий, поросший иссиня-черной щетиной, который никогда на меня не обращал внимания, вдруг подозрительно спросил:

– Ты чего, гимназист, веселишься? Не к добру. Тульке тоже веселился, когда на Хитровку посылали. Видали, какое решето вместо человека привезли?

Арцыгова я не любил, но в то же время им восхищался. Однажды он со сломанной правой рукой и с наганом в левой привел трех налетчиков. В другой раз провел ночь, лежа между трупами в морге, чтобы вскрыть аферу с медикаментами. А то как-то на спор, выпив стакан спирта, посмеиваясь, прошелся от балкона до балкона по карнизу седьмого



этажа дома Ефремова.

Арцыгов красочно описывал, как выглядел труп Тульке, и я понимал, что делает он это специально, но все-таки чувствовал себя неважно.

– Вот так и разделали парня, – заключил Арцыгов и, с любопытством смотря на меня неподвижными навывкате черными глазами, спросил:

– Боязно небось в Хиву-то, а?

– А чего бояться? – бодро, даже слишком бодро ответил я. – Семи смертям не бывать, а одной не миновать!

– Что верно, то верно, – согласился Арцыгов и кивнул на мои фетровые бурки: – Махнемся? Даю валенки и башлык.

Я отрицательно покачал головой.

– Зря, башлык верблюжьей шерсти, – выпятил нижнюю губу Арцыгов. – Но дело хозяйское. А если на Хитровке кокнут, в наследство оставишь? – спросил он серьезно и, как мне показалось, даже с надеждой.

Заставив себя засмеяться, я весело ответил:

– Ну, если кокнут, можешь все забрать.

Любопытно, что после разговора с Арцыговым мое нервное возбуждение как-то улеглось. Я уже мог заниматься своими обычными делами, а их оказалось немало. Кроме того, дежурный не справлялся с регистрацией происшествий, и мне пришлось взять это на себя. Происшествий было много – мелкие и крупные кражи, налеты, убийства. Потом привели человек двадцать мешочников.

Этими мешочниками были забиты все камеры предварительного заключения. Ражие дядьки круглые сутки валялись на нарах, били вшей и ругали Советскую власть. Время от времени кто-нибудь из них начинал долбить в двери камеры кулаками, требуя начальства, или затягивал песню. Репертуар был ограниченный, мне запомнилась только одна песня на мотив «Вышли мы все из народа».

«Вышли мы все из вагона, – вразнобой орали певцы, – картошку отобрали у нас. Вот вам союз и свобода, вот вам Советская власть!»

Новую партию мешочников надо было предварительно опросить и зарегистрировать. Оказалось, что это не так-то просто, особенно пришлось помучиться с одним задержанным – толстым, с неряшливой, клочковатой бородой.

– Как ваша фамилия? – спрашивал я.

– Чего?

– Фамилия, говорю, как?

– Мое фамилие?

– Да.

– А для че тебе мое фамилие?

– Зарегистрировать надо.

– А-а-а.

– Ну, так как фамилия?

– Чего?

– Фамилия, говорю, как?

– А для че тебе мое фамилие?

И все начиналось сначала, как в сказке про белого бычка, которую когда-то Вера любила мне рассказывать. Я настолько закрутился, что, когда в дежурку заглянул Савельев и спросил: «Вы готовы?» – я посмотрел на него недоумевающими глазами.

– Мы же скоро едем.

– Ах да, действительно.

Дежурный было возмутился, что он и так зашивается, а у него еще помощника отбирают, но Савельев даже не посмотрел в его сторону. Пропуская меня вперед, он сказал:

– Удивляюсь вашему спокойствию. Когда я участвовал в своей первой операции, я не был столь хладнокровен. Волновался весьма...

– Видимо, дело в характере, – без излишней скромности объяснил я.

– Видимо.

Во дворе нас уже ждали щегольские узкие сани, в которых сидели Горев и Виктор.

– Все? – спросил, поворачиваясь всем телом, кучер.

– Все, – ответил Савельев. – С богом!

Мы остановились недалеко от Орловской больницы. Горев поднес к губам свисток и два раза негромко свистнул. Ему точно так же ответили, и из-за дома вынырнул невысокий человек в романовском полушубке. Это был Арцыгов.

– Ну как? – коротко спросил Горев.

– Все в порядке, Петр Петрович. Гнездышко со всех сторон оцеплено.

– Ну что ж, хорошо, если, конечно, птички не улетели.

– Вы со мной будете или внутрь пойдете? – спросил Арцыгов, растирая замерзшие пальцы.

– С вами. А вы, Сухоруков?

– Я тоже в оцеплении останусь.

– А мы с молодым человеком отправимся пить чай к Аннушке, – сказал Савельев и вытер указательным пальцем слезящиеся на ветру глаза.

У входа в трехэтажный дом стояли два красногвардейца, вдоль стены маячили в сумерках еще несколько фигур с винтовками.

Савельев взял меня за локоть, и мы вошли в подъезд. Сразу же потянуло спертым, вонючим воздухом. Лестница не была освещена, я то и дело спотыкался на стертых ступеньках. На площадке между первым и вторым этажом наткнулись на спящего оборванца, который даже не шевельнулся.

Мы вошли в громадную квадратную комнату. Большинство ночлежников спали. С трехъярусных нар свешивались ноги в сапогах, лаптях и опорках. Посреди ночлежки, под висячей керосиновой лампой, прямо на грязном полу играли в карты. Слышались азартные выкрики игроков:

– Семитко око!

– Имею пятак.

– Угол от пятака...

Где-то в углу хриплый не то женский, не то мужской голос выводил: «Не пондравился ей моей жизни конец и с немилым пошла мне назло под венец...»

Савельев поманил пальцем рыжего парня в суконной чуйке и опойковых сапогах с высокими кожаными калошами, который, видимо, следил здесь за порядком.

– Эй, ты, Семен, кажется?..

– Так точно, Федор Алексеевич! – с готовностью откликнулся тот и по-солдатски щелкнул каблуками. – Что прикажете?

– Севостьянова у себя?

– Так точно.

– Проводи нас.

Парень засуетился.

– Уж и рада вам будет Анна Кузьминична. Вчерась как раз меня спрашивали: «Чего, дескать, Федор Алексеевич про нас совершенно забыли? Уж не обидела ли я их ненароком...»

– Ладно языком молоть, – оборвал его Савельев. – Или, может, время выгадываешь?

– А чего мне выгадывать? – честно выкатил глаза парень. – Сами сегодня убедитесь, что зазря столько людей к дому пригнали. Нам скрывать нечего, а вам завсегда рады!

В сопровождении парня мы прошли в дальний угол ночлежки, занавешенный ситцем, и рыжий забарабанил кулаком в дверь.

– Кто там? – послышался старческий, дребезжащий голос.

– Открой, Иваныч! Гостей привел.

– Полуношники! – недовольно заскулил голос. – Сейчас отопру.

Загремел запор, и меня ослепил яркий свет.

– Ого! Электричество провела! – сказал Савельев.

– А как же, нешто мы хуже других! – откликнулся мелодичный женский голос. – Заходите, заходите!

О Севостьяновой мне как-то рассказывал Виктор. Она снимала несколько ночлежек и «номеров» в Сухом овраге. Пожалуй, во всей России не было ни одного крупного преступника, который бы хоть раз не побывал в этих «номерах», где можно было получить все, начиная от шампанского «Клико» и кончая полным набором новейших заграничных инструментов для взлома сейфов. Поговаривали, что Севостьянова не только скупает краденое и укрывает преступников, но и участвует в разработке планов ограблений. Но уличить ее не могли.

Савельев, любивший всегда проводить параллель между людьми и насекомыми, на мой вопрос о Севостьяновой ответил:

– Вы знаете про богомола? Если самка богомола голодна, то она даже во время спаривания иногда начинает, между прочим, жевать голову своего возлюбленного, а затем и его грудь. Таким образом, вскоре весь он оказывается в ее желудке... Так вот, я не завидую тому, кто подвернется Аннушке под руку, когда она голодна...

Естественно, что после всего этого я ожидал увидеть нечто из ряда вон выходящее, но знакомство с Севостьяновой меня несколько разочаровало. В ее облике не было ничего бросающегося в глаза – обыкновенная мешаночка из Замоскворечья. Миловидное простое лицо, в мочках ушей дешевые изумрудные серьги, на плечах оренбургский платок. Держалась она просто и свободно; как старая хорошая знакомая, расспрашивала Савельева про семью, ужасалась дороговизной.

– Если так дальше продолжаться будет, Федор Алексеевич, – говорила она, – то хоть ложись и помирай. Никаких возможностей больше нет. Мои-то захребетники вовсе платить перестали. Свобода, говорят, долой эксплуататоров. Если бы не мои молодцы, то не знаю, как бы с ними и справились...

Савельев молча ее слушал и посмеивался. Потом Севостьянова вышла в другую комнату и вернулась с подносом,

на котором стоял графинчик с узким горлышком и две коньячные рюмки.

– Не побрезгуйте, Федор Алексеевич, откушайте!

Меня Севостьянова просто не замечала.

– Коньячок не ко времени, – отрицательно мотнул подбородком Савельев, – а самоварчик поставь.

Чай пил он вкусно, истово, время от времени вытирая большим платком лоснящееся лицо.

– Хорошо! Недаром покойный отец, царство ему небесное, говаривал, что настоящий чай должен быть, как поцелуй красавицы: крепким, горячим и сладким.

Постороннему могло показаться, что происходит все это не на Хитровке, в доме Румянцева, а где-то на окраине Москвы, в обывательской квартирке. Пришел к молодой хозяйке пожилой человек, друг семьи, а может быть, крестный. Скучновато ей со словоохотливым стариком, но виду не покажешь: обидится. Вот и старается показать, что ей интересно. Старичок бывает редко, можно и потерпеть.

Эта иллюзия была нарушена только один раз, когда Савельев внезапно спросил:

– Сколько ты опиума, Аннушка, купила?

В углах рта Севостьяновой легли резкие складки, отчего лицо сразу же стало злым.

– Бог с вами, Федор Алексеевич! Какой опиум?

А тот самый, что Горбов и Григорьев на складе «Кавказа и Меркурия» реквизировали.



– Ах, этот! – протянула Севостьянова. – Самую малость – фунтиков двадцать. Налить еще чашку?

– Налей, голубушка, налей, – охотно согласился Савельев. – А свою покупочку завтра с утра к нам завези.

– Чего там везти, Федор Алексеевич!

– Не спорь, голубушка. Договорились? Вот и хорошо. А заодно прихватишь золотишко, которое тебе Водопроводчик вчера приволок. И скажи ему, чтобы, пока не поздно, уезжал из Москвы. Распустился.

Когда в комнату ввели первую партию задержанных, Савельев неохотно отодвинулся от столика.

– Так и не дали чаю попить! – сказал он Виктору и протяжно зевнул, похлопывая согнутой ладошкой по рту. – Ну, кто здесь из старых знакомых?

– Кажись, я, Федор Алексеевич, – подобострастно скосоротился оборванец с глубоко запавшими глазами.

– Хиромант? Володя?

– Он самый, Федор Алексеевич, – с видимым удовольствием подтвердил оборванец. – Только прибыл в Хиву, даже приодеться не успел – пожалуйста бриться.

– Ай-яй-яй, – ужаснулся Савельев. – Откуда же ты, милый?

– Из Сольвычегодска прихрюл, Федор Алексеевич. Как стеклышко, чист. Истинный бог, не вру! Век свободы не видеть!

– Ну, ну. Не пойман – не вор. Отпустят. А вот тебя, голуб-

чика, придется взять, – обернулся он к чисто одетому подростку. – Шутка ли, двенадцать краж! Сидоров с ног сбился, тебя разыскивая.

– Бог вам судья, Федор Алексеевич, но только на сухую берете!

– Это ты будешь своей бабушке рассказывать! – обиделся Савельев. – Твою манеру резать карманы я знаю.

Так перед столом Савельева прошло человек пятнадцать – двадцать, большинство из которых тут же было отпущено.

– Из-за такой мелкоты не стоило и ездить! – скучно сказал он, когда ввели очередную партию, и вдруг шлепнул рукой по столу. – Ну, господин Сухоруков, вы, видно, в рубашке родились! Прошу любить и жаловать – Иван Лесли, по кличке Красивый. Вместе с Кошельковым участвовал в ограблении валютчиков на Большой Дмитровке и артельщика на Мясницкой. Так, Ваня?

Тот, к кому он обращался, был действительно красив – высокий, стройный, синеглазый, с выющейся шевелюрой. Лесли был братом невесты Кошелькова, Ольги. К банде он примкнул недавно под влиянием Кошелькова. Виктору действительно повезло: показания Лесли могли привести на след всей банды.

Всего было отобрано пять человек: три карманника, домушник, подозревавшийся в крупной квартирной краже, и Красивый.

Когда красногвардейцы увели задержанных, мне показа-

лось, что из-за двери, ведущей в соседнюю комнату, донесся какой-то странный звук.

– Кто у вас там?

– Мальчишка один, хворает.

Я заглянул в смежную комнату, обставленную намного бедней, чем та, в которой мы сидели, и никого не увидел.

– Где же он?

– Да вон там, в углу, – нетерпеливо сказала Севостьянова и отдернула ситцевый полог.

На маленьком диванчике под лоскутным одеялом кто-то лежал. Я приподнял край одеяла и увидел пышущее жаром лицо мальчика. Глаза его были полузакрыты. Дышал он порывисто, хрипло.

Тузик!

Да, ошибки быть не могло, он!

Мой отец был человек увлекающийся, от него можно было ожидать всего. Поэтому, когда он в один прекрасный день привел в дом беспризорника с Хитровки и заявил, что тот теперь будет у нас жить, никто не удивился. Вера, которая тогда вместе с Ниной Георгиевной готовилась к выпускным экзаменам на акушерских курсах, отодвинула конспекты и, громко стуча каблуками, прошла в столовую.

– Вот этот? – спросила она, брезгливо взглянув на жалкого оборвыша, стоявшего посреди комнаты.

– Да-с, – громко ответил отец, у которого всегда появлялся задор, когда он чувствовал себя неуверенно. – Вас это не устраивает?

– Нет, ничего, – спокойно сказала Вера, – курносенький.

– Какой есть, других не было.

Вера смирила отца взглядом, и папа сразу же потерялся. Он засуетился и робко сказал:

– Ты, Верочка, не сердись. Я понимаю, экзамены, хлопоты по хозяйству, беспокойства, но...

– Ладно, – прервала его Вера, – не надорвусь. Хотя, как ты, видимо, знаешь, я против индивидуальной благотворительности, которая только развращает людей: и тех, кто благодетельствует, – Вера вложила в это слово столько иронии, что оно прозвучало, как оскорбление, – и тех, кого облаго-

детельствовали. Впрочем, об этом мы поговорим позднее. Я догадывалась, что твое участие в комиссии по оздоровлению Хитрова рынка так просто не кончится. Скажи хоть, как его зовут?

– Тузиком, – потупился отец.

– И то хорошо, по крайней мере не Шарик и не Полкан. Нина! – позвала она подругу. – Тут Семен Иванович сделал нам сюрприз, так не мешало бы его отмыть...

– Кого отмыть? – переспросила Нина Георгиевна.

– Папин сюрприз отмыть. Ты мне поможешь?

Так в нашей квартире появился новый член семьи, беспокойное «дитя улицы», как его называла Вера.

Тузик держался весьма независимо. Отца он любил, Веру боялся, меня не замечал, а нашу прислугу, пухленькую Любашу, ненавидел. До сих пор не могу понять природу этой ненависти. Любаша была совершенно безобидной девушкой, которая, как говорится, даже мухи не могла обидеть. Но Тузик ее доводил до слез. Как-то Любаша не выдержала и заявила Вере, что больше оставаться в доме она не может. Или она, или Тузик.

– Позови его сюда, – сказала Вера.

Любаша отправилась на кухню, которая была излюбленным местом юного гражданина Хитровки, но его там не оказалось. Тузика ждали до вечера – напрасно. Не появился он и на следующий день. Отец было хотел обратиться в полицию. Но Вера строго сказала:

– Хватит, найди себе другое развлечение. Больше мучиться с мальчишкой я не собираюсь...

– Железное у тебя сердце, Вера! – вздохнул папа. – И в кого ты только?

– В себя, – отрезала Вера. – Я всегда тебе говорила, что ты несколько переоцениваешь законы наследственности. И вообще ты большой ребенок.

И вот через год с лишним я опять увидел Тузика здесь, на Хитровке, в притоне Севостьяновой.

– Ты чего застрял? – крикнул Виктор.

– Да тут мальчишка...

– Какой мальчишка?

– Ну помнишь, я тебе рассказывал... Тузик. Отец его с Хитровки тогда привел.

Виктор подошел ко мне и наклонился над диванчиком.

– Испанка. Надо бы в больницу... Давно его прихватило? – спросил он у Севостьяновой.

– Третий день пошел. Ничего, отлежится.

– Какое там отлежится! Как пить дать помрет.

– А помрет, значит, так надо. Богу видней, – безучастно ответила Севостьянова и предложила Савельеву еще чашку чаю. Но тот отказался.

– Ну так что, отнесем в больницу? – неуверенно спросил Виктор.

Виктор попросил у Севостьяновой второе одеяло и начал тщательно закутывать Тузика.

– Охота вам возиться... – сказала Севостьянова и осеклась: на улице застучали выстрелы.

Кто-то дико и страшно закричал. Опять выстрелы. Один за другим. Мы с Виктором безотчетно кинулись к выходу.

– Куда? Сейчас же назад! – крикнул Савельев.

С быстротой, которой трудно было от него ожидать, он подскочил к выключателю, погасил свет и пинком ноги распахнул дверь в ночлежку, где слабо светила керосиновая лампа.

– Храбрость показывать нечего, – ворчливо сказал он, запыхавшись, – а то всех, как кроликов, перестреляют. Это вам не роман о похождениях Рокамболя, а Хитровка. А ты, Аннушка, подальше от греха уйди-ка в ту комнату...

Он прижался спиной к стене у входной двери, и я слышал, как коротко щелкнул взведенный курок. Мы с Виктором встали по другую сторону двери.

– Спусти предохранитель, – почему-то шепотом сказал мне Виктор.

– А где он? – также шепотом спросил я.

Держа в руке только утром полученный браунинг, я больше всего опасался, что могу всадить пулю в самого себя: Груздь не объяснил его устройство, а спросить у него я постеснялся.

Виктор молча взял браунинг и, что-то сделав с ним, вложил мне его обратно в руку.

Стрельба прекратилась так же неожиданно, как и нача-

лась. В ночлежке что-то передвигали, ругались, но к двери никто близко не подходил.

– Пошли? – спросил Виктор.

– Успеете.

Томительно тянулись минуты. Потом послышались торопливые шаги и в освещенном квадрате дверного проема появилась фигура Горева.

– Не стреляйте. Это я. Где тут выключатель? – Он зацарапал ногтями по стене.

– Сейчас.

Савельев зажег свет. Горев тяжело опустился на стул. Шуба на нем была распахнута, лицо бледное, веко правого глаза подергивалось.

– В чем дело? – спросил Савельев.

– Арцыгов... Лесли застрелил...

– Побег?

– Какой побег! Для развлечения...

Виктор неторопливо начал засовывать маузер в кобуру. Он никак не мог попасть в коробку. Бессмысленными глазами оглянулся по сторонам и так, зажав маузер в руке, двинулся к двери.

– Сухоруков! – окликнул его Савельев. – У вас не найдется закурить?

– Что? – непонимающе посмотрел на него Виктор.

– Закурить, спрашиваю, не найдется?

– Закурить?



Рукой, в которой был маузер, Виктор начал похлопывать себя по карману. Затем положил маузер на стол и достал кiset.

– Но вы же не курите? – растерянно спросил он.

– Правильно, – подтвердил Савельев. – А теперь спрячьте оружие и пошли.

Мы прошли через притихшую ночлежку и спустились по лестнице. Красногвардейцы оттаскивали труп к одинокому столбу фонаря, который слабо светил сквозь густую кисею падающего снега.

С разных концов площади стекались к фонарю группами и поодиночке оборванные люди.

Солдат в ушанке угрожающе клацал затвором и тонко кричал:

– Куда?! Стрелять будем!

– Где Арцыгов? – спросил у него Виктор.

– А я знаю? – зло огрызнулся тот и снова закричал: – Куда? Куда?!

Откуда-то неожиданно вынырнул Арцыгов, разгоряченный, в лихо заломленной на затылок мерлушковой папахе.

– Поторапливайся, ребята, поторапливайся! – Увидев нас, он весело оскалил зубы и подмигнул: – Смыться хотел!

– Не лгите, – устало сказал Горев. – Я все видел. Вы просто самовольно дали приказ о расстреле.

Щеку Арцыгова дернула судорога.

– А если и так, что тогда? Все равно бы его шлепнули, не

здесь, так там. Теперь не старый режим: с подонками церемониться некогда. Революция!

– Ты, сволочь, на революцию не ссылайся! Революция не такими и не для таких делалась! – Виктор схватил Арцыгова за борта полушубка.

Тот вырвался, выхватил наган.

– Осади, шкет!

Вмешался Горев:

– Хватит. Разговор продолжим завтра. Обо всем этом, как ответственный за операцию, я доложу начальнику уголовного розыска.

– Хоть самому Всевышнему! – оскалился Арцыгов и крикнул красногвардейцам, прислушивавшимся к разговору: – Грузи на сани! А по тем, кто подойдет ближе, чем на десять шагов, стрелять без предупреждения.

– Свобода... – вздохнул Горев и начал непослушными пальцами застегивать шубу.

Тузика в Орловской больнице не приняли. Старый фельдшер с прокуренными седыми усами только разводил руками.

– Можете расстреливать, товарищи, а мест нет. Куда я его положу? В морг, что ли?

Фельдшер не врал. Больница была переполнена. Люди лежали не только в палатах и коридорах, но и на полу приемного покоя, в кабинете главного врача, вестибюле. Больные бредили, стонали, рвали ногтями грудь, всхлипывали.

Поругавшись для порядка, Виктор наконец сказал:

– Тогда хоть посмотрите его, лекарство какое дайте или что...

– Вот это можно, – обрадовался фельдшер. – Это я с превеликим удовольствием.

Он пощупал у мальчика пульс, поставил градусник и положил на столик пакетик с порошками. Потом на минуту задумался и достал из шкафчика бутылку с микстурой.

– Так что у него?

– Может, испанка, а может, иная напасть. Разве угадаешь?

– Как же вы лекарства даете, не зная от чего? – вспыхнул Виктор.

Фельдшер удивленно посмотрел на него водянистыми старческими глазами.

– То есть?

– «То есть, то есть», – передразнил Виктор. – А если его эти порошки в могилу сведут?

Фельдшер обиделся.

– Вы меня, молодой человек, не учите-с, не доросли. Да-с, – брызгая слюной и топорща усы, говорил он. – Вы еще, извините за выражение, пеленки у своей матушки мочили, когда я людские страдания облегчал-с. Одному богу известно, кто чем болен, а лекарства между тем всегда выписывают. Такой порядок. Да-с. И если я эти лекарства даю, значит, знаю, что они безопасны и никому никогда вреда не приносили...

– А пользу?

Фельдшер, видимо потеряв от возмущения дар речи, свирепо засопел и повернулся к нам спиной.

– Оставь его, – сказал я, чувствуя, что Виктор с минуты на минуту может вспылить. – Пошли.

Извозчика мы не нашли, пришлось Тузика нести на руках. Виктор его держал за плечи, я – за ноги. У Покровских ворот нас остановил патруль.

Ругаясь сквозь зубы, Виктор передал мне Тузика и достал удостоверение.

– Служба, – смущенно сказал пожилой красногвардеец, возвращая удостоверение. – Что с мальчонкой? Сыпняк?

– Нет, кажется, испанка.

– Подсобить?

Только тут я почувствовал, как устал за эту ночь. Руки у

меня онемели, колени дрожали, спина стала совсем мокрой от пота.

– Пожалуйста, папаша, – поспешно сказал я, опасаясь, что Виктор откажется. – Здесь уже рядом. Парнишка не тяжелый, только мы его закутали, чтоб не простыл...

– Тяжесть не велика, грыжу не заработаю...

Красногвардеец передал винтовку своему напарнику, в последний раз жадно затянулся сигаркой, выплюнул ее в снег.

– Давайте! Один управлюсь.

Когда мы уже входили в подъезд моего дома, он, будто невзначай, спросил:

– Это ваши на Хитровке стреляли?

– Нет, – быстро ответил Виктор.

– А я думал, ваши... Когда на санях убитого везли, почудилось мне, что Сенька Худяков в охране, с нашей фабрики парень, в розыске теперь... Значит, не вы?

– Нет.

– Может, анархисты шалили?

– Может быть. Не видели.

– Да, дела... А Сеньку Худякова знаешь?

– Не припомню, народу у нас много.

– Про то слышал, – подтвердил словоохотливый красногвардеец. – Учреждение сурьезное. И то сказать, жулья не впроворот. Так и шныряют, так и шныряют. Всяка вошь из щели вылезит, чтоб свою долю кровушки получить. Дежу-

ришь ночью – только и слышишь: «Караул, грабят!» Не знаешь, в какую сторону и кидаться. Намедни барышню раздели. Что гады сделали – сережки у ей в ушах были, так вместе с мясом вырвали. Сидит голая в сугробе да скулит, как кутенок, а кровь так и хлещет...

– Ну, пришли, спасибо, – с видимым облегчением сказал Виктор, когда мы остановились у моей двери.

В Москве проходило уплотнение, и ко мне вселили семью доктора Тушнова. Опасаясь воров, доктор врезал в дверь несколько новых замков, которые можно было открыть – и то не всегда успешно – только изнутри, зная секрет сложной механики.

Я позвонил – молчание. Еще раз.

– Так мы всю ночь под дверью стоим, – раздраженно сказал Виктор. – Ты не миндальничай, стучи кулаком! Разошлись!

Я последовал его совету, но к двери по-прежнему никто не подходил.

– Сильны спать! – почти с восхищением сказал второй красногвардеец, который молчал всю дорогу. – Ну и буржуи! Запросто всю революцию проспят. Продерут глаза – ан уже коммунизм!

– Не спят они, просто отпереть боятся. Дай-кась я! – сказал разговорчивый красногвардеец. Он опустил Тузика на лестничную площадку и грохнул в дверь прикладом.

– Эй, вы, открывайте!

– У меня оружие, я буду отстреливаться, – слышался из-за двери дрожащий голос доктора.

– Я тебе стрельну! – рявкнул красногвардеец.

– Я брал призы за меткость, – таким же бесцветным голосом прошелестел доктор.

С перепугу доктор действительно мог выстрелить.

– Борис Николаевич, – вмешался я, стараясь говорить как можно спокойнее и убедительнее, – пожалуйста, не волнуйтесь. Никто на вас не собирается нападать. Это же я и Сухоруков, тот Сухоруков, который в нашем дворе живет. Мы пришли ночевать. Вы узнаете мой голос, правда?

– Голос можно изменить.

– Но кому это нужно?

– Грабителям, – последовал обоснованный ответ.

Дипломатические переговоры через дверь продолжались минут десять. Наконец доктор, не снимая цепочки, приоткрыл дверь и, только убедившись, что мы именно те, за кого себя выдаем, впустил нас в прихожую.

В моей комнате, загроможденной мебелью, было холодно и сыро: дома я бывал редко и топил свою «пчелку» от случая к случаю.

Мы уложили Тузика на большую двухспальную кровать карельской березы, разжав плотно стиснутые зубы, влили в рот немного микстуры. Тузик дернулся, перевернулся на бок, что-то забормотал.

Виктору я постелил на диване, себе на кушетке. Вместе

растопили печурку. Я смертельно устал, голова была тяжелой, мутной. Передо мной стояло желтое, с заострившимся носом лицо Лесли, оскаленный в застывшей полуулыбке рот, и я видел кружащиеся снежинки, которые падали на его щеки и не таяли. А глаза у Лесли были открыты, и снежинки, попадая на них, тоже не таяли. Интересно, сколько Лесли было лет? Наверное, не больше двадцати пяти. И недаром его прозвали Красивым. Действительно, красивый, очень красивый. Наверно, не одной гимназистке голову вскружил... Хотя при чем тут гимназистки? Ведь он не учился в гимназии. А может быть, учился? Что за ерунда в голову лезет?..

Я приподнялся на локте и закурил.

– Не спишь? – спросил Виктор.

– Не спится.

– Мне тоже. Все об этом деле думаю. Сволочь все-таки Арцыгов. Ему что вошь, что человек. Раз – и нету. За что он его убил?

– Ну, бандит все-таки...

– А бандит не человек? Я позавчера одного налетчика допрашивал... «Что, – говорит, – думаешь, я налетчиком родился? Я, – говорит, – может, поэтом родился. Я, – говорит, – может, почище Пушкина стихи складываю». Ну, насчет Пушкина он вгорячах приврал, а стихи действительно здорово написаны. Там мне одна строка запомнилась: «Необычное обычно только в сказках и стихах...» Здорово?

– Ничего.



– Не ничего, а здорово. Хорошие стихи, лиричные. А вот на тебе, налетчик... Мать у него проститутка, отец барыга. С девяти лет воровать посылали, не кормили. А он на ворованные деньги Пушкина, Лермонтова, Кольцова покупал... А мать его, думаешь, от хорошей жизни на панель пошла? Сложно все это, Сашка!

– Ну, так все оправдать можно.

– Да я не оправдываю, объясняю. Вот его возьми, для примера, – Виктор кивнул в сторону Тузика, – и бандит из него может выйти, и профессор. Скажешь, нет? Жизнь почище какого скульптора лепит. Для того ее и переделываем, революция для всех, и для них, хитрованцев, тоже...

– Значит, по-твоему, бандитов и уничтожать не нужно?

– Почему не нужно, нужно. Есть такие, которых уже не переделаешь, озверели, ожесточились, уж слишком крови нанюхались. Только нам в бандитов не следует превращаться... А то вот я одного из комендантского взвода знал. Весельчак вроде Арцыгова. Рубаха-парень... Так что он, зараза, делал: вел человека на расстрел, а сам шуточки шутил, в усики посмеивался. Одной рукой за плечи обнимает, а другой потихоньку наган достает, чтобы в затылок пулю вогнать. Это, объяснял, я из-за доброты делаю, чтобы расстреливаемый до последней секунды не знал, что я его кончать веду... Кокнули этого весельчака, свои же ребята кокнули. Не человек – садист... Таких нам пуще открытых врагов опасаться надо. Они идею пачкают, как девку своими грязными руками ла-

пают.

Затихнув, я смотрел, как Сухоруков сорвался с дивана и в одном нижнем белье завертелся по комнате. Потом он немного успокоился и, тяжело дыша, уселся у печки, закурил... Огонек сигарки то вспыхивал яркой звездочкой, то почти затухал. Мы молчали.

– Вот так, член «большевистской фракции», – сказал Виктор. – Так и живем. То с бандитами сражаемся, то с арцыговыми... – И неожиданно спросил: – Ты как себе коммунизм представляешь?

В теории я чувствовал себя достаточно подкованным: ведь как-никак читал Маркса, Энгельса, Каутского, Струве и даже законспектировал первый том «Капитала».

Я начал говорить об отмирании государства, о ликвидации частной собственности.

– Не то, – прервал меня Виктор. – Ты говоришь: не будет эксплуатации, не будет частной собственности, не будет армии. Сплошные «не». Это я тоже понимаю. А вот что вместо этих «не» будет?

– Ну, сейчас трудно об этом говорить...

– А что тут говорить? Об этом не говорить, мечтать, что ли, надо. – Виктор улыбнулся. – Ко мне недавно Груздь приходил, просил кальку достать. На кой черт тебе калька, спрашиваю. Мнется. То да се. Наконец признался. Оказывается, он с одним архитектором на квартире живет. Глун... Глан... Не помню фамилии. Да, собственно говоря, это и не важно.

Молодой парень, вроде тебя. Так он, этот архитектор, над городами будущего работает. Города из голубого камня. Дома голубые, дороги голубые, улицы голубые... Как небо.

– Ерунда, фантазия...

– Фантазия? Может быть, но не ерунда. А фантазировать и мечтать надо, иначе жить нельзя. Только вот не думал, что Груздь на это способен. Оказывается, способен. Калька-то, оказалось, для того архитектора нужна. Боится, говорит, что запоздает, в срок свою работу не кончит. А без кальки и керосина много не начертишь: он по ночам работает. Мы, говорит Груздь, с ним по этому вопросу в Совнарком неделю назад заявление отправили: так, дескать, и так, учитывая, что на носу мировая революция и поэтому остро необходимо создать единый всемирный стиль архитектуры эпохи коммунизма, просим содействовать в снабжении товарища Глана, который разрабатывает таковой, керосином и калькой. Что касается оплаты, то товарищ Глан, учитывая остроту международного момента, от нее отказывается и передает все свои чертежи республике безвозмездно... Да, очень Груздь этим делом заинтересован. А голубые города – это здорово. Может, действительно при коммунизме города будут голубые, а?

Я пожал плечами.

– Эх ты, теоретик! Ну давай спать, что ли...

Виктор щелчком пальцев подбросил самокрутку. Взлетев, она описала крутую дугу и упала где-то посреди комнаты.

Огонек рассыпался по полу огненными брызгами. И мне на мгновение показалось, что это из тьмы ночи засверкали освещенные электричеством окна городов будущего. Кто его знает, может, они действительно будут голубыми? И еще я подумал, что сейчас где-то на другом конце Москвы склонилась над ватманом голова безвестного архитектора, который глубоко убежден, что ему очень нужно торопиться...

А за окном тревожным, беспокойным сном спала Москва – холодная, голодная, разрушенная. Вдоль пустынных улиц из глубокого снега выглядывали лысые головы каменных тумб, которые стояли здесь еще пятьдесят лет назад; металась в бреду сыпнотифозные, спозаранку выстраивались угрюмые, молчаливые очереди за хлебом, а в гулких комнатах роскошных особняков бывшие аристократы и бывшие либералы раскладывали пасьянсы, пытаясь угадать точную дату падения Советской власти...

Я сидел в кабинете Виктора, когда вошел Горев.

– Прошу ознакомиться, господин Сухоруков, – сказал он и положил на стол поверх протокола допроса свою докладную об убийстве на Хитровке.

– Вернулась от начальника?

– Да, довольно быстро, не правда ли? Как любит говорить Сергей Арнольдович, без старорежимного бюрократизма и волокиты.

Наискось докладной мелким, с завитушками почерком начальника уголовного розыска была написана длинная и витиеватая резолюция: «Поступок Арцыгова достоин осуждения, поскольку противоречит основным принципам создаваемой в классовых боях революционной законности и нарушает общие правовые положения. Но в интересах объективности необходимо учесть и иные характерные моменты – пролетарское происхождение провинившегося и его беззаветную преданность революции, а также то, что убитый являлся деклассированным элементом, затрудняющим поступательный ход истории. Учитывая вышеизложенное, ограничиться в рамках целесообразности разъяснительными мероприятиями...»

– Чушь какая-то.

– Думаете? – Горев усмехнулся. – Напрасно, господин Су-

хоруков. Просто Сергей Арнольдович ставит точку над «і»: раз человек пролетарского происхождения, он имеет право убивать, а раз другой – «деклассированный элемент», следовательно, его нужно убивать. Что же касается законов, то они, если не ошибаюсь, «сметены революционным ураганом». Как в вашей песне поется: «Мы старый мир разрушим до основания»?.. Так, кажется?

– Да, только вы продолжение забыли: «...А затем...»

– Нет, помню. Но боюсь, что «затем» уже поздно будет. Во всей бывшей Российской империи останутся только трупы да стаи волков.

Когда Виктор сильно волновался, он бледнел. Вот и сейчас я видел, как кровь отлила от его щек, а глаза сузились. В такие минуты он мог наделать черт те что. Поэтому, когда он сказал, что пойдет к Миловскому, я решил идти вместе с ним.

Начальник уголовного розыска Сергей Арнольдович Миловский был в недалеком прошлом присяжным поверенным и, видимо, неплохим адвокатом. Во всяком случае, его фамилия в свое время частенько мелькала в газетах в разделе судебной хроники. Мужчина он был, что называется, видный. Густые волнистые волосы с проседью, «волевой» подбородок, под упругими дугами бровей – великолепные глаза трагика. Короче говоря, на присяжных он должен был производить сильное впечатление. Но в уголовном розыске его не то чтобы не уважали, а как-то не принимали всерьез. Ко-

гда мы зашли в кабинет Миловского, он просматривал какие-то бумаги.

– Вам некогда, Сергей Арнольдович? – спросил я. Зная характер Виктора, я больше всего хотел сейчас избежать этого неприятного разговора.

Но Миловский, положив на бумаги пресс-папье, сказал:

– Писанина подождет. Для сотрудников у меня в сутки выделено ровно... – он сделал короткую эффектную паузу, – двадцать четыре часа.

– Я относительно Арцыгова, – хмуро сказал Виктор.

Миловский слегка приподнял правую бровь. Все его лицо выражало недоумение.

– Арцыгова? – повторил он хорошо поставленным голосом. – Слушаю, товарищ Сухоруков.

– Я читал вашу резолюцию на докладной Горева и не согласен с ней. Арцыгову не место в уголовном розыске.

– Вот как?

– Таких нужно гнать в три шеи.

Миловский внимательно посмотрел на Виктора. Теперь лицо его выражало скорбь. Он покачал головой:

– Не ваши слова, товарищ Сухоруков, не ваши... И это печально, что вы, рабочий парень, повторяете мысли Горева, осколка прошлого режима.

– При чем тут Горев? – грубо сказал Виктор. – Просто я считаю, что в розыске не место бандитам, что должна существовать какая-то законность...

– Какая-то законность? Нет, товарищ Сухоруков, не какая-то, а революционная. Законность, созданная в огне революции, совсем не напоминает слюнявые разглагольствования небезызвестного Кони. Я, разумеется, не оправдываю Арцыгова, но я его понимаю. А вот вас я не могу понять. Революция – это вихрь, ураган. Втиснуть ее в заплесневелые рамки правовых норм и обветшалых догм нельзя. Она богатырь. А попробуйте на богатыря надеть одежду подростка – затрещит по швам. Нельзя к новому применять старые мерки. Исходя из чисто формальной классической логики, переговоры с немцами, например, могут вестись только в одном аспекте: мир или война. – И добавил по-латыни: – Терциум нон датур. Но мы отбрасываем формальную логику и заменяем ее революционной: ни мира, ни войны. Воевать мы не можем, а идти на грабительский мир с империалистами не имеем права, ибо это будет предательством по отношению к мировому пролетариату.

Миловский вышел из-за стола и говорил, уже обращаясь не к Виктору, а к воображаемой аудитории. Его отработанные жесты покоряли своей силой и выразительностью. Точно так же он выступал на многочисленных совещаниях, призывая сотрудников розыска «раз и навсегда покончить с гнусным наследием проклятого прошлого».

Мне речи Миловского в то время нравились. И хотя я не совсем понимал, какое отношение имеет случай на Хитровке к переговорам с немцами и почему Миловский понима-



ет Арцыгова и не понимает Сухорукова, тем не менее я был почти зачарован и немало удивился, когда Виктор прервал начальника в самом патетическом месте:

– Так вы не собираетесь пересмотреть свое решение?

– Я не могу идти против своей совести...

– А говорит он все-таки здорово, – сказал я Виктору, когда мы вышли в коридор.

– Болтуны всегда здорово говорят, – ответил Виктор. – На то они и болтуны.

Я было вступился за Миловского, но Сухоруков отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи.

– Хватит, достаточно.

На следующий день Виктор отправился в административный отдел Совдепа. Но здесь было не до него. В высоких комнатах дымили самокрутками, толкались, громко переговаривались люди в солдатских шинелях. Чаше других можно было услышать слова «Петроград», «Нарва», «мир», «германцы», «наступление».

Мирные переговоры были сорваны. Почти не встречая сопротивления армии и малочисленных, разрозненных отрядов красногвардейцев, австро-германские войска железной лавиной обрушились на республику.

Двадцать первого февраля Совнарком издал декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». Декрет кончался словами: «Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество!»

В Москве спешно формировались полки, батальоны и отряды, которые сразу же отправлялись на фронт. Бывшие солдаты обучали новичков приемам штыкового боя, учили стрелять, бросать гранаты. В помещении Александровского и Алексеевского военных училищ открылись курсы по подготовке командиров Красной армии, а в Крутицких казармах – десятидневные курсы пулеметного, подрывного и артиллерийского дела.

На заводах, фабриках и в учреждениях шла запись добровольцев. Подали заявление об отправке на фронт и мы с Виктором. Но из этого ничего не получилось. Военный комиссар района, седоусый, с редким колючим бобриком коротко стриженных волос, немногословно сказал:

– Вы, хлопцы, горячки не порите. Занимайтесь лучше своими отечественными бандитами, а с германскими мы и без вас справимся.

Приблизительно то же самое нам сказали и в Союзе рабочей молодежи «III Интернационал». Пришлось примириться.

А на Петроград каждый день шли все новые и новые эшелоны. Гремела медь оркестров. На перронах толпились женщины и дети, провожающие близких. Обыватели жадно ловили слухи о продвижении германских войск, о разногласиях в ЦК большевиков, о «близком и на этот раз уже верном падении Советской власти». Шмыгая носами, с кривенькими усмешечками читали плакаты: «Революция в опасности!

Наступает последний решительный час! Смерть или победа!»

Доктор Тушнов, обычно мрачный и вялый, теперь ожил. Открывая мне как-то дверь, к которой успел за последнее время приделать еще несколько дополнительных запорочек, он доверительно сказал:

– Ходил на свою квартиру. Семьи трех «товарищей» там теперь поселили. Комнаты загадили основательно. Но я уже договорился с малярами. Обещали дня за четыре все в ажур привести...

– Надеетесь вернуться?

– Не надеюсь, молодой человек, а уверен. Да-с, без варягов святой Руси не существовать.

Но наступление немцев было остановлено. Третьего марта советская делегация подписала мирный договор.

– Как видишь, логика революции иногда совпадает с обычной логикой, – не удержался Виктор, протягивая мне газету с сообщением о заключении договора. – А условия тяжелые. Но ничего, придет время, расквитаемся... Вчера с одним солдатом говорил – в Одессе в госпитале лежал. Бурлит Украина. И в Германии беспокойно... Еще месяц, еще два, и революция там будет. Увидишь. Да, с германскими бандитами справились, а вот с отечественными дело похуже... Действительно, бандитские группы росли как грибы после дождя. Шайки Якова Кошелькова, Собана, Гришки-адвоката, Козуки, Невроцкого, Мишки Рябого, Мартазина, Ваньки

Хохла, Водопроводчика терроризировали население Москвы. Почти все они были самым тесным образом связаны с Хитровым рынком, а многие из них поддерживали контакт и с анархистами, которые к тому времени захватили в Москве двадцать пять особняков. Дом анархистов на Малой Дмитровке стал своего рода штабом целого ряда руководителей бандитских групп. Дело дошло до того, что в конце февраля Московский Совет принял специальное постановление, в котором говорилось, что «под видом анархистов выступают громилы и грабители, которые производят хищения и пьянствуют».

По далеко не полным данным, за первый квартал 1918 года в городе было совершено 1876 преступлений. Эта цифра говорила сама за себя. Хвастать, как говорится, было нечем.

Советская власть все более прочно обосновывалась в городе, занимая одну ключевую позицию за другой. Зайдя в любое учреждение, теперь можно было увидеть рядом со строгими, глухими сюртуками демократические косоворотки.

Старое причудливо переплеталось с новым. В газетах печатались объявления о национализации по требованию рабочих фабрик и заводов и о... новоизобретенной машинке «Глория» для оттачивания ножей «жиллет», сообщения о положении на Украине и об организации «артели безработных помещиков», о захвате «немедленными социалистами» особняка на Первой Мещанской и о том, что бывший царь Николай II в Тобольске систематически занимается зарядкой и по собственной инициативе сам счищает снег и рубит дрова.

Все менялось. Менялось на глазах. Неизменным оставалось только наше учреждение. Порой казалось, что новая власть в круговороте событий просто о нем забыла. Все так же на многочисленных совещаниях произносил часовые речи Миловский, клеймя позором мировой империализм и призывая сотрудников добиться стопроцентной раскрываемости преступлений. Точно так же, как и десять лет назад, ровно в восемь открывал дверь своего кабинета Горев и ров-

но в час закрывал, отправляясь на обед.

Нельзя сказать, что люди, занимавшие многочисленные комнаты уголовно-розыскной милиции, ничего не делали. Задерживались преступники, допрашивались пострадавшие, инспектора и агенты выезжали на место происшествий. Но это была не та работа, которая требовалась в то бурное время.

За прошедшие несколько недель я уже немного освоился со своим новым положением. Теперь мне уже не льстило, как раньше, внимание жильцов дома, исчез металл в голосе, я уже не поднимал воротника пальто и не смотрел исподлобья на всех встречных. Вообще, кажется, я стал взрослей. Миловский зачислил меня в группу, которая занималась исследованием квартирных краж, кстати говоря, самых многочисленных в то время.

– Я считаю, что Сухоруков оказывает на вас плохое влияние, – объяснил он свое решение. – Поработайте у Ерохина.

Почему Миловский увидел в Ерохине образцового воспитателя, не знаю. В восемнадцать лет легко делают себе кумира из личности, явно для этого не подходящей. Но Ерохин был настолько не похож на идеального героя, что уже при первом знакомстве ничего, кроме гадливого чувства, у меня не вызвал. Суетливый, низколобый, прыщавый, постоянно облизывающий острым язычком толстые губы, он был антипатичен и, кажется сам это понимая, тщательно следил за своей внешностью. Волосы он смазывал бриллиантином,

ногти полировал замшей и всегда носил с собой маленькое зеркальце, которое вынимал при каждом удобном случае.

Ерохин был владельцем единственной в уголовном розыске немецкой овчарки по кличке Треф. Треф ленью и чистоплотностью очень походил на своего хозяина. Уговаривать его в непогоду выйти на улицу было сущим мучением, а в ограбленной квартире он интересовался абсолютно всем, кроме следов преступника. Но Ерохин относился к его слабостям снисходительно: за пользование ищейкой была установлена такса – пятьдесят рублей, и хотя деньги падали в цене, количество краж стремительно увеличивалось, так что гонорар Ерохина был сравнительно стабилен. Самодовольство хозяина передавалось псу. Треф ходил с высоко поднятой головой и, беря след, словно делал личное одолжение обокраденному. Его красивые наглые глаза так и говорили: «Только попрошу без назойливости. Сами понимаете, пятьдесят рублей не такие деньги, чтобы из кожи лезть».

Потеряв след – а с Трефом это случалось частенько, – пес лениво вякал, зевал и преспокойно усаживался у ног хозяина. А когда клиент начинал волноваться, вмешивался Ерохин. «Постыдились бы, – говорил он осуждающе. – Старый мир гибнет, а вы за побитый молью салоп держитесь. Пошли, Треф!»

Иногда все-таки украденное находили, и тогда гордости моего шефа не было предела.

– Революция начисто смела родословную аристократов,

но никто не уничтожит родословную собак, — глубокомысленно морщил он лоб. — У собак родословная — это все: нюх, красота, понятливость, благородство. Я предков Трефа до пятого колена знаю — чистейшей воды аристократы! — И в порыве любви к своему помощнику Ерохин просил: — Дай, дружище, лапу!

Треф смотрел на шефа и нехотя протягивал лапу. Честное слово, в этом жесте действительно было что-то благородное!

Учиться у такого специалиста, как Ерохин, было нечему. Я пробовал читать книги, на которых стояли штампы сыскного отделения департамента полиции, орлы на обложках и надпись: «Для внутрислужебного употребления».

Но большая часть сведений, сообщавшихся в них, касалась преступлений, никем в те годы не совершаемых: «Расследование дел о подлогах векселей...», «Мошенничество путем объявления себя банкротом...», «Убийство с целью завладения наследством...».

А мне приходилось отыскивать следы украденного комода, который — как наверняка знали и я, и потерпевший — уже горел в чьей-нибудь буржуйке; утешать женщину, оплакивающую пропавшее пальто, — его сняли с вешалки в передней; определять, кто из соседей мог бы стащить и продать редкую по своей ценности в те времена вещь — водопроводный кран.

Как-то в переулке у Пречистенки, куда я прибыл по вызову, маленькая худенькая старушка объяснила мне, что украден самовар.



Я составил подробный протокол осмотра места происшествия, говорил с соседями. А старушка все ходила за мной и вспоминала, как с этим самоваром она ездила с покойным мужем по воскресеньям на Воробьевы горы и там они всей семьей пили чай прямо на травке.

Надоела она мне весьма основательно. В конце концов я не выдержал и заговорил словами своего шефа:

– Постыдились бы о самоваре голосить! Люди на фронте жизнь отдают.

– Не твой... – ехидно выдохнула старушка. – Не твой, так тебе и дела нет. А был бы твой, небось пол-улицы в участок поволок бы.

Я разозлился и, на свою беду, вспомнил папиного любимца – пузатый тульский самовар с толстыми медными медалями вокруг трубы, который пылился в чулане.

– Не нужно лишних разговоров, гражданин. Если желаете, можете взять мой самовар. Не жалко.

Так и было сделано.

Старушка придирчиво осмотрела подарок со всех сторон, и он ей понравился. Меня это вполне устраивало, и я даже помог ей довести самовар до дому. Мы расстались довольные друг другом: она приобрела самовар, а я избавился от кляузного и неинтересного дела.

К сожалению, кто-то надоумил старушку, что о моем благородном поведении необходимо довести до сведения начальства, и она недолго думая отправилась в розыск. И

вот на очередном совещании Миловский, который, как никто другой, умел совмещать несовместимое, проанализировав международную обстановку и положение дел в розыске, вдруг заговорил обо мне и злосчастном самоваре.

– Многим этот поступок может показаться странным, – говорил он. – Но я вижу в нем прообраз будущих отношений между людьми. Мне не нужен самовар – тебе нужен. Возьми! Белецкий формально не выполнил служебное задание, но сделал он это во имя высшей цели – доброты и любви к ближнему.

Признаться, меня покорило утверждение начальника, что все сделано из любви к этой мерзкой старушонке. Но все-таки приятно, когда тебя хвалят. И я никак не думал, что стану мишенью для насмешек. А это, увы, произошло. Теперь, здороваясь со мной, Груздь обязательно добавлял:

– Слышал? На Мещанской шубу украли. У тебя, случаем, лишней нет?

От Груздя не отставал Арцыгов. Даже флегматичный, ни на что не обращающий внимания Савельев и тот, встречаясь со мной, не мог удержаться от улыбки.

– Не понимаю, что они смешного нашли? – жаловался я Виктору.

– А ты еще много чего не понимаешь, птенец желторотый.

– Но что плохого, если я отдал самовар, который мне не нужен?

– А то, что тебя послали к ней на расследование. Это ты

хоть понимаешь? Добряк нашелся! Что о тебе теперь народ говорить будет?

– Уверен, что ничего плохого.

– Ошибаешься. Ну и власть, скажут, прислали мальчонку ворованное отыскать, а он, сердешный, ничего-то не знает, ничего не понимает. Попотел-пототел да и говорит: «Бери уж, мамаша, мой самовар».

Спорить с Виктором было бесполезно. И уж как-то само собой оказалось, что история с самоваром начала казаться мне глупой, а сам я последним дураком.

Но вскоре иные события заставили меня совсем забыть о ней.

Одиннадцатого марта мы узнали о переезде из Петрограда в Москву правительства. Члены СНК разместились в гостинице «Националь», возле которой теперь стояло несколько потрепанных автомашин. А в первых числах апреля на стенах домов и театральных тумбах забелели листки бумаги – обращение ВЧК к населению Москвы: «...Лицам, занимающимся грабежами, убийствами, захватами, налетами и прочими тому подобными совершенно нетерпимыми преступными деяниями, предлагается в 24 часа покинуть город Москву или совершенно отрешиться от своей преступной деятельности, зная впредь, что через 24 часа после опубликования этого заявления все застигнутые на месте преступления немедленно будут расстреливаться».

ВЧК призывала трудовое население Москвы к активному

содействию всем мероприятиям Чрезвычайной комиссии.

Вскоре отрядами ВЧК и латышскими стрелками кремлевской охраны была разгромлена анархистская «Черная гвардия».

– Ну, – потирал руки Виктор, – кажется, теперь по-настоящему взялись и за отечественных бандитов.

Как-то вечером Ерохин затащил меня в небольшое кафе у Покровских ворот. Тогда еще с продовольствием в Москве было сравнительно терпимо. Так называемый классовый паек ввели, если не ошибаюсь, к концу 1918 года, в августе или сентябре. А продажа спиртных напитков уже была запрещена. Но Ерохин пошептался с юрким официантом, и тот поставил на наш столик маленький самовар.

– Крепкий чаек! – подмигнул Ерохин и, перегнувшись через столик, шепотом сказал: – Смирновка, настоящая.

Я удовлетворенно кивнул, хотя водки мне пробовать не приходилось. За всю свою предыдущую жизнь я выпил всего две или три рюмки вина на свадьбе Веры, но не хотелось показывать своей неопытности.

– Ну, поехали, – приподнял стопку Ерохин. – За что выпьем? Папаша жив? Нет? Вот мой тоже скончался, царство ему небесное. Понимал покойный толк в водочке и яствах. Мы, говорил, Митя, только последний обед и последнюю рюмку с собой уносим. Хороший был старик, мудрый. А вот мамаша не то, суетливая старушонка. У тебя-то кто в живых? Сестра? В Ростове, говоришь? Эх, Ростов, Ростов! Дамочки там, скажу тебе, пальчики оближешь! Как Николай Алексеевич Некрасов высказывался? «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» Но теперь, конечно, не то. Война, ре-

волюция. Каледины там всякие, Корниловы... А теперь как там? Кубано-Черноморская республика, что ли? Ну, давай, давай, за сестру и ее муженька. Чтобы все там у них в порядке было.

Я выпил стопку залпом.

– Молодец, ох молодец! – восхитился Ерохин. – Только закусывай. Закуска – мечта. Под такую закуску не только самоварчик – Черное море выпить можно. Не бывал на Черном-то море? А я бывал. И на песочке лежал, и на солнышке грелся. Кое-что в своей жизни я все-таки видел. А вам, молодым, не повезло. Невеселое время. Как говорится, красивой жизни не жди, свою бы некрасивую сохранить. Так-то. А ты чего не пьешь? Захмелел?

– С чего?

В ту минуту мне действительно казалось, что водка на меня совершенно не подействовала. Мне было просто весело, тепло и уютно. Мне нравилось все: доброжелательный, услужливый официант, плакатик на стене: «Здесь на чай не берут», фикус в углу, разноголосый шум сидящих за столиками, папиросный дым, маленькая певица в длинном серебристом платье, похожая на русалку, и мой собеседник. Видимо, я все-таки напрасно так относился к Ерохину. Подумаешь, некрасивый. Разве человек обязательно должен быть красивым? Паганини, например, был просто уродливым, а Паганини – гений, и Бальзак – гений, и Толстой – гений. И у Толстого была большая борода. Большая и широкая. Инте-

ресно, почему Ерохин не носит бороду?

– Митя, ты чего бороду не носишь?

– Что? Бороду? Чу-дак! – Ерохин засмеялся. – Придумал тоже, бороду! На кой ляд мне борода?

«Действительно, зачем ему борода? – поразился я. – Чего это вдруг мне в голову пришло? Нет, кажется, я все-таки пьян. Больше пить нельзя. Хватит. Больше ты не выпьешь ни одной стопки, – убеждал я сам себя, – ни одной. Понял?»

– Ты чего на певицу пялишься? Нравится? – допытывался Ерохин, упершись грудью в край стола. – Хороша девица? Хочешь познакомлю?

– Зачем?

– Ха-ха-ха! Ну, право слово, чудак! Не знает, зачем с девицами знакомятся! Не бойсь, научу! С Ерохиным не пропадешь. Думаешь, дурак Ерохин? Нет, Ерохин не дурак. Ерохин придушивается. Ерохин знает, что с дураков спрос меньше. Ерохин жить хочет! Понимаешь, жить! Дурак Горев, что лбом паровоз остановить пытается. Дурак Савельев. Сколько лет он в полиции? А что имеет? Кукиш с маслом да коллекцию тараканов. Не-ет, жить надо уметь. Война, революция – это все проходит. Побьют красные белых, белые красных, похоронят друг друга, а умные останутся. И жить будут, и водочку пить будут, и баб любить будут! Осознал?

– Подожди, подожди.

Со мной творилось что-то странное. Я слышал слова Ерохина, но смысл их как-то ускользал от меня, мысли терялись,

растворялись в разгоряченной алкоголем голове.

– Подожди, подожди, – бормотал я, пытаюсь сосредоточиться и взять себя в руки, – что-то непонятно...

Ерохин поддел вилкой несколько маринованных маслят, засунул их в рот, проглотил. Провел по толстым губам острым язычком и пригладил без того гладкие, блестящие от бриллиантина волосы.

– А непонятно тебе, потому что ты еще сосунок, молочко на губах. Хлопаешь ушами да веришь всему, что тебе Миловский и Сухоруков говорят. А толк из тебя будет. Ты уж мне поверь, я в людях разбираюсь. Вот из-за истории с самоваром над тобой твои дружки смеялись, а я – нет. Потому что понимаю: широкая натура у парня. На, бери, не жалко. Так и нужно. Но и свою выгоду забывать не следует. Отдал сотню – заработал тыщу. Понял? А на нашем деле только дурак не озолотится. У нас при Николае начальником сыска Маршалк был. Три доходных дома имел, свой выезд, подвал всяких иноземных вин. Понял?

– Подожди, подожди, – повторял я с пьяной настойчивостью. – Давай разберемся.

– А мы и разбираемся. Сам живешь и другим давай. Верно?

– Верно, – подтвердил я, еще не понимая, куда Ерохин клонит.

– Вот, к примеру, то дело в гостинице «Гренада»... Ну, помнишь, актерку в номере обворовали? Ну, там кулон, се-



режки... Помнишь? Ты это дело швейцару клеишь...

– То есть как это «клею»? – Я почувствовал, что трезвею. – Я никому никаких дел не клею. Против него три показания...

– Два показания, три показания... – перебил меня Ерохин. – Что мы, на уроке арифметики, что ли? Ты же умный парень. При чем тут показания? Старика-то жалко? Две дочери у него, бедняги, на выданье, сам голышом ходит... По-человечески-то жалко его?

– Ну, на бедного он не похож. Валюты у него будь здоров!

– Да пойми, дурья голова, зачем тебе его сажать? Выслужаться, что ли, хочешь?

Я молчал. Конферансье, перекрывая гул голосов, объявил:

– Выступает известный еврейский комик-аристократ Павел Самарин!

На эстраду вышел полный мужчина во фраке и летней шляпе из кокосовой мочалки – «здравствуйте-прощайте». Поклонился, потер руки.

– С разрешения distinguished публики я прочту маленький, совсем маленький, – он показал руками, какой именно маленький, – отрывок из популярной революционной пьесы «Ванька на престоле».

– Давай лучше «Центрофлирт»! – закричал кто-то из зала. «Интересно, певица еще будет выступать?»

– Выпьем? – предложил Ерохин и положил свою руку с

выхоленными ногтями на мою.

Ладонь у него была потная, горячая. Я выдернул руку и брезгливо вытер ее салфеткой. Но он не обиделся.

– Выпьем?

– Нет, пить я не буду.

Ерохин выпил сам. Поморщился, словно у него болели зубы.

– Тяжелый ты человек, Саша, и неумный человек. Думал, умный, а ты дурак, как есть дурак. Знаешь, сколько он дает? Десять тысяч. Да на эти деньги... Половина твоя, идет? Ну, три четверти?

Я встал.

– Сколько с меня за выпивку?

– Благородный? Взятки не берешь? – Физиономия Ерохина побагровела, на низеньком лбу поблескивал пот. Он теперь походил на разъяренного хорька. – Перед Советской властью не послужишь. Дворянин небось? Ничего, недолго ждать: всех в ставку к Духонину отправят, к стеночке рядочком поставят. И тебя, и Горева, и Савельева... Всех, всех! Пролетарское происхождение не послужишь, за столом трудовых мозолей не натрешь!

Я начал пробираться к выходу, обходя тесно поставленные столики. У гардеробной меня нагнал Ерохин, схватил за локоть, жарко зашептал в ухо:

– Обиделся, чудак? Ишь какой обидчивый. Раз-два, и обиделся. Шутки, что ли, не понимаешь?

– Хороши шуточки!

– А что, и пошутить нельзя? Контрреволюция? Ведь я тебя, чудака, испытывал. Миловский просил, ей-богу. Испытай, говорит, Белецкого. Узнай, чем дышит... Вот я и испытывал. Не веришь? Хочешь, побожусь? Не хочешь? А что хочешь? Ты дружбу Ерохина не теряй, пригодится...

Я с трудом вырвался из его цепких рук и вышел из кафе. Было холодно, но уже пахло весной. На скамейках бульвара, как и несколько лет назад, сидели парочки. Мне почему-то вспомнилось, что вот на такой скамейке под многолетним тополем частенько проводили свои вечера и мы с Надей – моей первой любовью. На спинке скамейки я еще вырезал тогда наши инициалы. Нади теперь в Москве нет, уехала вместе с родителями куда-то на юг, а может быть, за границу, кто знает? Но если бы она и была здесь, это бы все равно ничего не изменило, потому что Наде последнее время нравился Пашка Нирулин из реального училища, и она ему еще подарила пенковую трубку. «Настоящая английская», – хвастался Пашка. Он вообще был хвастун. Тоже, наверно, уехал. А Вера пишет, что в Ростове беспокойно и ожидаются события. Но Нина Георгиевна все-таки отправилась к ней. В голове копошились отрывистые, несерьезные мысли. Меня сильно покачивало. Незаметно я прошел свой переулочек и оказался у Мясницких ворот, для чего-то остановился у чайного магазина. Видимо, стоял я там долго, потому что сторож, лохматый старик с берданкой, не выдержал и крикнул:

– Чего вылупился? А ну, проходи!

Я опять вернулся на бульвар. Меня подташнивало, но чувствовал себя я значительно лучше. По лестнице своего дома я уже поднимался довольно твердо, по крайней мере мне так казалось. Но, открывая дверь, доктор Тушнов подозрительно на меня посмотрел и, не обращаясь ко мне лично, а куда-то в пространство, сказал:

– При алкогольном опьянении лучше всего помогает нашатырный спирт.

Последней моей мыслью, когда я засыпал, было, что Тушнов разстрезвонит завтра о происшедшем по всему дому.

Проснулся я раньше обычного. Во рту было мерзко, к голове словно кто-то привязал кирпич: я никак не мог оторвать ее от подушки. Умываясь, я все вспоминал вчерашний вечер, гадкий, сумбурный. Обидней всего было, что Ерохин со своим предложением обратился не к кому-нибудь, а ко мне. Неужто я произвожу такое впечатление? Или он просто решил, что с мальчишкой легче договориться? Ну и дрянь! Я, говорит, не дурак, а умный. А вот Горев и Савельев дураки. Белые похоронят красных, а красные белых, а потом он и вылезет из щели и будет жить в свое удовольствие. Да, накопил он на таких делах, наверно, порядочно. Я вспомнил, что краденое Ерохин почему-то всегда обнаруживал не у воров, а уже у барыг. Ну, конечно, Виктор еще говорил, что это подозрительно. Наверное, получает мзду с воров да еще с клиентов. Клиентам-то главное вернуть обратно свои вещи, а у кого они окажутся, у воров или перекупщиков, им все равно. А ворам лишь бы продать. Вот он и мухлюет. А я тоже хорош: нашел с кем пить. Работник уголовного розыска, который пьет подпольную водку! И вообще, зачем мне пить? «Сегодня же доложу обо всем Миловскому, обязательно», — твердо решил я, выходя из дому.

Ерохин обычно приходил на работу с опозданием. Но сегодня он уже сидел за столом и одним пальцем перепечаты-

вал на машинке протокол осмотра места происшествия.

– Опаздываешь?

Я молча кивнул на часы: было без двадцати восемь.

– А-а, – протянул он и, не поворачивая ко мне головы, спросил: – Побежишь капать?

– Не капать, а докладывать о происшедшем.

– До-кла-дывать? – пропел издевательски Ерохин. – Ишь какой, из молодых да ранний. Докладывать! Ну и докладывай. Только учти: веры мне побольше, чем тебе. Скажу: мальчишка мне предлагал взятку, а я отказался, вот он и полез в амбицию, решил провокацией заняться. Ну, тебя и того... за решеточку. Понял? «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно...» Сейчас как в приговорах пишут? «Определить в место заключения до полного торжества мировой революции». Вот и посидишь до полного торжества. А торжество, видать, не скоро будет...

Какая все-таки гадина! Какая гадина!

– О мировой революции хоть бы помолчали.

– А чего мне о ней молчать? – продолжал издеваться Ерохин. – Все говорят, а я молчать буду? Я, дорогой, полноправный гражданин республики, беспартийный большевик, так сказать...

Ударил я его, не замахиаясь, снизу, как бил во время драк с реалистами.

Ерохин замолчал, посмотрел на меня недоумевающими слезящимися глазами. Из носа его вяло побежала на подбо-

родок струйка крови. Он достал платок, прижал его к носу, запрокинул голову и только тогда почти удовлетворенным тоном сказал:

– Драться? Я тебе покажу драться. Ты у меня, гнида, узнаешь, как честных работников избивать. Сейчас же иду к Миловскому. Понял?

Он встал и, не отнимая носового платка от носа, вышел из кабинета.

– Иди куда хочешь! – крикнул я вслед.

Но он уже меня, видимо, не слышал. Я схватил графин, выпил подряд два стакана застоявшейся, тепловатой воды и для чего-то повторил: «Иди куда хочешь!» Потом я свернул самокрутку и закурил.

Что-то теперь будет? Я знал, что Миловский не выносил ссор между сотрудниками, а всего ему объяснять не будешь. Да и не поверит он. Это Ерохин правильно сказал, что веры ему больше. Зачем мне надо было его бить? Ведь он специально меня провоцировал...

Скрипнула дверь. В комнату заглянул делопроизводитель Кудрин, тихий паренек, почему-то носивший полное полевое снаряжение офицера-артиллериста.

– Начальник кличет.

Я шагал по коридору впереди Кудрина. Я понимал, что уж теперь ничего не поделаешь. Все. Свидетелей у меня нет, а у Ерохина свидетель – окровавленный нос. Без стука – Миловский считал эту церемонию антидемократической – я рас-

пахнул дверь кабинета и переступил порог.

– Стучать нужно! – остановил меня резкий голос.

Я поднял глаза. За столом Миловского сидел плечистый и, видимо, высокий человек в черной кожанке и недружелюбно глядел на меня хмурыми, слегка косящими глазами. Я нерешительно остановился у двери.

– Сергея Арнольдовича нет? – неожиданно для самого себя робко спросил я.

– Он здесь больше не работает, – коротко объяснил человек в кожанке, по-прежнему разглядывая меня своим холодным, оценивающим взглядом.

Только тут я увидел Ерохина, сидящего на краешке стула у стола.

– Чего ждете? – повернулся к нему новый хозяин кабинета. – Разговор закончен.

Ерохин подскочил как подброшенный пружиной.

– Товарищ Медведев!

– Ну?

Ерохин скомкал носовой платок, сунул его в карман брюк и вытянулся, словно на смотре.

– Осмелюсь доложить, что увольнять меня никак нельзя.

– Это еще почему?

– Розыск останется без единственной служебной собаки, товарищ Медведев!

– Не останется. Собаку реквизируем.

– Невозможно, товарищ Медведев, она никого, кроме ме-



ня, слушать не станет! Она...

– Вся Россия слушается, – без улыбки сказал новый начальник, – как-нибудь и с собакой управимся. Что еще?

Ерохин открыл рот, потом снова его закрыл. В таком жалком состоянии своего шефа я еще ни разу не видел.

– Разрешите идти, товарищ Медведев?

– Идите.

Ерохин неслышно вышел из кабинета. На столе лежал его разобранный пистолет. Медведев постучал длинными сильными пальцами по стволу пистолета, подбросил его на ладони и буркнул:

– Больше ржавчины, чем стали. Вот так и все ваше учреждение...

Позже я узнал, что, когда Ерохин влетел в кабинет к новому начальнику с жалобой на меня, тот первым делом попросил его показать оружие и, увидев, в каком оно состоянии, тут же распорядился о его увольнении.

– Ноги не устали? Садитесь.

Я сел на тот самый стул, на котором несколько минут назад сидел Ерохин. Сел так же, как и он, на краешек. Потом это мне показалось унижительным, я передвинулся, облокотился на спинку и даже положил ногу на ногу. Медведев молча наблюдал эти манипуляции, и под его упорным взглядом я чувствовал себя очень неудобно.

– Анархист? – резко спросил он.

– Нет, беспартийный.

– С какого работаете в розыске?

– С декабря прошлого года.

– Все время у Ерохина?

– Нет, вначале у Савельева.

– В операциях по ликвидации бандитских групп участвовали?

– Нет.

Вопросы следовали один за другим. И ответы на них невольно свидетельствовали о моей ничтожности. Разве я мог объяснить Медведеву, что я не отлынивал от настоящих дел, а просто меня к ним не подпускали.

– Ваше оружие.

Я достал пистолет и положил его на стол рядом с револьвером Ерохина.

– Удостоверение.

Медведев просмотрел удостоверение и спрятал его в ящик.

– Все.

– Что все? – не понял я.

Этот вопрос, наверно, прозвучал глупо, потому что Медведев ухмыльнулся и, прищурившись, пояснил:

– «Все» означает, что вы свободны, драться будете на фронте.

Вот и закончилась моя недолгая работа в уголовном розыске. Да, «все» означает, что я свободен: свободен от дежурства, от участия в патрулировании, в облавах, в засадах,

от совместной работы с Савельевым, с Виктором, Горевым. Впрочем, может быть, это и к лучшему? В конце концов, какой я к черту сыщик?! А вот на фронте дело другое. Там не надо разыскивать чей-то самовар или шубу...

Придя домой, я сел за длинное письмо Вере. Не жалея красок, я расписывал ей, какое я ничтожество, но пусть она не думает, что я потерянный человек; на фронте я смогу доказать, на что я способен. Письмо получилось длинное и несвязное. И как раз, когда я думал, отправлять его или не отправлять, ко мне вошел Виктор.

– Пошли.

– Куда?

– В розыск, разумеется. Медведев вызывает.

– Не пойду.

– То есть как не пойдешь?

– Не пойду, и все.

– Ну, знаешь... – Виктор развел руками.

– Я никому не позволю над собой издеваться, – сказал я дрожащим голосом.

– Истерику ты мне прекрати. – Виктор начинал злиться. – Обиделся, видите ли. Оскорбили мальчика. Ты что, считаешь, что он должен был тебя по головке гладить? Сначала пьянствовал с Ерохиным, потом драку с ним затеял, а теперь нюни распустил. Ты действительно не понимаешь, что натворил? А ну, быстро одевайся. Только морду ополосни.

Честно говоря, я ждал, что Медведев встретит меня по-

другому. Но разговор был ненамного приятней первого.

– За вас ручается Сухоруков. Сухорукову я верю. Мне приходилось с ним встречаться во время моей работы в ВЧК. – Он помолчал, словно взвешивая слова. – Но учтите, за его спиной вам спрятаться не удастся...

Я довольно резко заявил, что ни за чьей спиной прятаться не собираюсь, что я могу полностью отвечать за свои поступки.

– И будете за них отвечать, – сказал Медведев, – полной мерой. А теперь возьмите свое имущество. – Он показал глазами на пистолет и удостоверение. – В следующий раз увольнять не стану. Передам в трибунал.

В дежурку вошел Арцыгов, ладный, веселый; скоморошничая, приложил два пальца к папахе.

– Осмелюсь доложить, начальство приказало свистать всех наверх. Совещание.

– Вольно, – махнул рукой Груздь.

Скаля зубы, Арцыгов подмигнул мне:

– Новое начальство – старые речи. Карты прихватил, гимназист? В терц перекинемся. Часа три для начала проговорит.

Но в тот вечер в карты мы не перекинулись. Речь нового начальника, если ее можно назвать речью, продолжалась всего десять минут.

Медведев оглядел комнату, заполненную сотрудниками, и не спеша достал из кармана тужурки газету.

– Мне говорили, что не все работники розыска следят за газетами, поэтому я прочту одно маленькое объявление. Вот оно: «Во время эвакуации Народного комиссариата по иностранным делам из расхищенных в вагонах вещей и документов считать недействительными два фельдшерских свидетельства от Военно-автомобильной школы и одно – запасной автомобильной роты на имя Сергея Павловича Озерова и Петра Николаевича Николаева и другие удостоверения указанных лиц. Просьба к расхитителям, – Медведев на этих

словах сделал ударение, – прислать таковые: Москва, Воздвиженка, Ваганьковский, 8, Озерову. Будет выплачено соответствующее вознаграждение». Это исчерпывающая оценка работы уголовной милиции, которая, по существу, является не работой, а саботажем. Да, контрреволюционным саботажем, который наносит неизмеримый ущерб Советской власти. И с ним будет покончено. Как известно, уровень раскрываемости преступлений в бывшем сыском отделении составлял 45 процентов. Сейчас он равен 15 процентам. Будет он не менее 50 процентов. Кто не в состоянии этого добиться, пусть подаст заявление об уходе.

Второе. В ВЧК поступают сведения о взяточничестве в уголовном розыске и о злоупотреблениях служебным положением. Людям, нарушающим основные принципы революционной законности, не место в наших рядах. Все имеющиеся сведения будут мною тщательно проверены, и на головы виновных упадет карающий меч революционного возмездия. Об организационной перестройке вы узнаете завтра из моего приказа, а новые требования усвоите во время практической работы.

Когда, ошеломленные и растерянные, мы выходили из комнаты, меня взял за плечо Груздь.

– Слыхал? Это тебе не Миловский. Факт. Если рассуждать диалектически, настоящий балтиец.

– Моряк? – заинтересовался Виктор.

– С крейсера «Рюрик». Кремень мужик. Он в нашем хлеву

наведет порядочек...

У Груздя была привычка всех людей, которыми он восхищался, превращать в бывших матросов. То он убеждал меня, что Ленин пять лет служил во флоте, то с пеной у рта доказывал, что Свердлов был гальванером на броненосце, а Луначарский – бывший гардемарин. Поэтому к подобным сообщениям я всегда относился критически, но на этот раз он оказался прав. Медведев был человеком тяжелой судьбы. Перед призывом в армию он работал вальцовщиком на судостроительном заводе. Во флот тогда мастеровых брать избегали: боялись революционной заразы, но атлетическая фигура и бравый вид прельстили какого-то военного чиновника, и Медведев после прохождения подготовки на берегу попал гальванером на броненосный крейсер «Рюрик».

На крейсере процветало рукоприкладство. У матросов систематически производили обыски. Во время одного из таких обысков боцман нашел в сундучке Медведева пачку прокламаций. В ответ на удар по щеке Александр Максимович, вспыльчивый по натуре, избил боцмана до потери сознания. Каторгу он отбывал в Либаве на «Грозящем». Когда грянула революция, взбунтовавшиеся «политики» растерзали командира плавучей каторги. Многотысячный флот забурлил. И вот Медведев работает в комендатуре Петроградского военно-революционного комитета. Комендант – человек в солдатской шинели и кожаной фуражке, с труднопроизносимой нерусской фамилией: Дзержинский. Медведев участвовал в

штурме Зимнего дворца, служил в ВЧК, теперь партия его направила на работу в уголовный розыск.

Да, новый начальник, член партии с 1904 года, во всем был полной противоположностью Миловскому.

Вместе с Медведевым в уголовный розыск из ВЧК перешло еще несколько человек, среди них пожилой рассудительный Мартынов, служивший до революции вагоновожатым в Уваровском трамвайном парке, и питерский рабочий смешливый Сеня Булаев.

В розыске были созданы боевая дружина, особая группа для борьбы с бандитизмом и летучий отряд, который должен был пресекать карманные кражи.

Начальником особой группы Медведев назначил Мартынова. В группу вошли Груздь, Сеня Булаев, Горев, Савельев, Виктор и еще человек десять – пятнадцать. А через неделю по ходатайству Сухорукова туда включили и меня.

– Эх, парень, парень, – качал лысой головой Мартынов (у начальника группы на голове не было ни одного волоса. Зато Мартынов отпустил себе большую бороду, как он выражался, для равновесия). – Ну что с тобой делать? Нет, обижайся не обижайся, а я буду просить Александра Максимовича о твоём отчислении.

И, не вступись Груздь, Мартынов так бы и поступил.

Если наша группа состояла из работников розыска, то боевая дружина, по существу, была воинской частью, насчитывавшей в своих рядах восемьдесят бойцов. Она находилась



на казарменном положении и помимо винтовок была вооружена еще двумя станковыми пулеметами. Правда, через месяц пулеметы отобрали и передали маршевой роте, которая отправлялась на фронт.

Начались горячие дни. Вместе с ВЧК и красногвардейцами мы провели крупную операцию в районе Верхней и Нижней Масловки, ликвидировали крупную шайку, занимавшуюся контрабандной торговлей наркотиками, уничтожили бандитскую группу Водопроводчика в Марьиной роще. Но Медведев не был удовлетворен первыми результатами. Он хотел большего и исподволь подготавливал операцию на Хитровке, которую вполне обоснованно считал центром бандитизма в Москве.

Одновременно он занялся чисткой аппарата. Приказом по уголовному розыску пять бывших полицейских были отстранены от работы и привлечены к уголовной ответственности по обвинению во взяточничестве. Вскоре пронесся слух, что их вина подтвердилась и по постановлению ВЧК они расстреляны. К Медведеву поступило двенадцать заявлений от старых работников с просьбой об увольнении. Кое-кто из подавших заявление чувствовал за собой грешки, но большинство поступило так из чувства солидарности. Однако все двенадцать были уволены, никого из них Медведев не уговаривал остаться на работе.

Приказы об увольнении следовали один за другим.

– С кем прикажете работать? – пожимал плечами Горев. –

С мальчишками? С представителями доблестного про-ле-тариата? Ну, понимаю, выгнать Ерохина, Корсунского, но лишиться таких сотрудников, как Иванов и Грузинский? Бесмыслица, преступление, наконец.

Так думал и говорил не только Горев. Мне действия Медведева тоже казались ошибкой. И только потом я понял, насколько он был прав. Действительно, у подавляющего большинства тех, кто остался, не было опыта, но зато у них было то, чего не хватало старым работникам, – энтузиазм. Перед Медведевым было два пути: штопать прогнившее или выбросить его на свалку, заменив новым. Он выбрал второй путь, более рискованный, но зато и более действенный, обновив аппарат розыска почти на три четверти. Развернувшись вскоре после этого события подтвердили правильность его решения.

Двор уголовного розыска напоминал большую конюшню. Еще с Трубной слышалось ржание лошадей и ругань извозчиков. Теперь давалась разнарядка, и у МУРа круглосуточно дежурило двадцать экипажей, на которых сотрудники выезжали на операции. Вначале лихачи пытались сопротивляться. Кто ссылаясь на болезнь лошади, кто просто не приезжал. Но после того как Груздь провел с ними «митинг», все стало на свои места. Речь матроса была кратка, но содержательна.

– Кем вы были до революции?! – патетически спрашивал Груздь у лихачей. – Лакеями самодержавия. Кого вы возили? Князей, баронов, проституток, офицеров и прочие язвы на теле трудового народа. Если рассуждать диалектически, революция вас раскрепостила, освободила от эксплуатации. Поэтому вы и должны ей служить верой и правдой. А кто будет саботировать, будем стрелять как тайных агентов буржуазии и заклятых врагов рабочего класса. Вопросы будут?

Неизвестно, что оказало большее влияние, речь или сама грозная внешность свирепого матроса, увешанного бомбами, но больше ни одного случая отлынивания не было.

Ночью я участвовал в облаве на Сухаревке. При Миловском сотрудники, принимавшие участие в ночных операциях, могли являться во вторую половину дня, теперь же каждый должен был быть на своем рабочем месте к восьми утра.

Сейчас было только половина восьмого, но в большой комнате, примыкавшей к дежурке, собралось человек десять. Здесь сидели Арцыгов, Груздь, ребята из боевой дружины. Все они плотным кольцом окружили Сеню Булаева, который со вкусом что-то рассказывал. Сеня не говорил, он играл. Голос, мимика и жесты у него были такими, что мог бы позавидовать и актер. Я протолкался поближе к рассказчику.

– А, гимназист! – повернулся ко мне Арцыгов. – Небось тоже любишь цирк?

– А кто его не любит? – развел картинно руками Сеня. – Все любят... Значит, было это на второй день после приезда из Питера. Ну ладно, приходим, суем мандаты – нас в директорскую ложу.

– С Сеней не пропадешь! – подмигнул Арцыгов, скаля белоснежные зубы.

– А ты думаешь! Ну, вначале все как положено: собачки прыгают, лев по бревну, как мы по улице, ходит, гимнасты под самым куполом всякие сногшибательные фокусы показывают. А потом выходит клоун и начинает жарить куплеты. Что ни куплет, то Советскую власть кроет. Терпел я, терпел, а потом невмоготу стало. Для чего, думаю, революцию делали, свою рабоче-крестьянскую кровь проливали?! Говорю Гофману: «Иосиф, давай его возьмем». Он мне на ухо: «Хорошо. Сразу же после представления пойдем за кулисы». – «Нет, – говорю, – сейчас!» Он меня уговаривать, а я – ни в какую. Не могу терпеть больше подобного безобразия. Вы-

нимаю браунинг и – на арену, Иосиф, натурально, за мной...

– Врешь! – хохотнул кто-то из слушателей.

– Спросишь у Гофмана, – отмахнулся Сеня.

– А он в Москве?

– Нет, в Оренбурге.

Когда смех утих, Сеня выхватил у молоденького красноармейца только что закуренную сигарку и как ни в чем не бывало продолжал:

– Подскакиваю я, значит, к этому клоуну и говорю: «Предъявите документы!» Публика в ладоши бьет, какая-то дамочка даже «браво» кричит. Восторг неописуемый! Откуда, думаю, такая сознательность? А потом дошло: за «рыжих» нас приняли. Но тут, натурально, не до публики. Клоун сначала растерялся, глазами захлопал, а потом смекнул, в чем дело, и колесом за кулисы, драпанул, значит. Мы за ним, Гофману кто-то подножку подставил – он падает и в потолок бабахает. А я жму дальше. Гляжу, клоун на клетку со львом прыгает. «Слазь, – говорю, – стервец, стрелять буду!» Молчит и не слазит. Я смотрю на него, он на меня, а лев на нас обоих. Что тут будешь делать? «Э, – думаю, – где наша не пропадала! Отдам свою молодую, цветущую жизнь во славу революции». Зажимаю браунинг в зубах и начинаю карабкаться на клетку. Гляжу, лев тоже контрреволюцию поддерживает: рычит и хвостом себя по бокам хлещет.

– Ой, не могу, – застонал, захлебываясь смехом, рыжий парнишка из дружины. – Уморил!

– Смешно подлецу, – снисходительно кивнул в его сторону Сеня. – А мне тогда, братцы, не до смеха было. Сами посудите, лев хоть и царь зверей, а животное все-таки неразумное, ему ситуации не разъяснишь: откусит полноги, а потом привлекай его к ответственности! Но на клетку вскарабкался я все-таки благополучно. Стою на четвереньках, оглядываюсь, – Сеня присел и завертел головой, – а клоуна нет: успел уже на другую клетку перескочить и рожи мне оттуда строит...

Дослушать окончание походов Сени Булаева мне не удалось. Ко мне подошел Виктор и потянул за рукав.

– Пошли, Медведев вызывает.

– Зачем?

– Зайдешь – узнаешь.

В кабинете Медведева было сильно накурено. Махорочный дым щипал глаза. «Всю ночь они, что ли, здесь просидели?» – подумал я, вглядываясь в лица сидящих.

– Продолжайте, Петр Петрович, – бросил Мартынов, когда дверь за нами закрылась.

– Я, собственно говоря, уже кончил, – каким-то лающим голосом ответил Горев. – Мое мнение можно сформулировать в нескольких словах: если господин Медведев желает кончить жизнь самоубийством, то для этого совсем необязательно отправляться на Хитровку. Он может прекраснейшим образом пустить себе пулю в лоб, не покидая этого кабинета.

– Зачем же так, господин Горев? – как будто обиженно сказал Мартынов. – Дело, конечно, рискованное, но не такое уж безнадежное, а вы сразу заупокойную тянете...

Медведев постучал ладонью по столу.

– Внимание, товарищи! Мы не на митинге. Дискуссию открывать не будем. Просто Горева, видимо, неправильно информировали. Вопрос с операцией решен, план ее разработан, так что спорить по этому поводу ни к чему.

– Тогда покорнейше прошу прощения, – наклонил голову Горев.

– Ну, ну, зачем же такое смирение? – добродушно усмехнулся Медведев. – Все равно не поверим. Но ближе к делу. Надежная агентура у вас на Хитровке есть?

– Что вы понимаете под словом «надежная»?

– Видимо, то же самое, что и вы. Нужны две явки. Можете их обеспечить?

– Только такие, где бы в спину нож не всадили, – вставил Мартынов.

– Думаю, что смогу.

– Думаете или сможете? Как говорят в Одессе, это две большие разницы.

– Смогу.

– Вот и хорошо. Инструктаж Сухорукова и Белецкого возьмете на себя. Ознакомьте их с планом операции.

Из кабинета Медведева мы вышли вместе с Горевым.

– Что за операция?

– Не терпится? – усмехнулся Горев. – Сейчас узнаете. Прошу. – Он открыл дверь комнаты и пропустил нас вперед. – Должен подойти еще Федор Алексеевич, но, я думаю, мы можем начать и без него.

Мы с Виктором уселись на маленький потертый диванчик, стоящий у стены напротив письменного стола.

– Ну так вот, молодые люди, то, чем нам сейчас предстоит заниматься, уравнение со многими неизвестными. Надеюсь, господин Белецкий, вы еще не забыли математику и представляете себе, что это такое? Впрочем, свою точку зрения на эту весьма рискованную затею я уже высказал господину Медведеву, он ее не разделяет. Так что больше говорить по этому вопросу я не собираюсь, в конце концов, это не входит в мои функции. Я исполнитель. Несколько дней назад из Московской чрезвычайной комиссии нам сообщили, что они располагают агентурными данными о том, что на Хитровке готовится нападение на правление Московско-Курской железной дороги. К агентурным данным со стороны я отношусь критически; чаще всего это плоды фантазии того или иного сотрудника, который должен объяснить начальству, куда уходят отпущенные деньги. Ерохин, когда с него требовали отчета, тоже ссылаясь на агентуру... Поэтому мною было проверено сообщение МЧК. И оно подтвердилось. Действительно, готовится ограбление, и, видимо, в нем примет участие вся головка Хивы: так называемый атаман Хитровки Разумовский, Мишка Рябой и прочие сливки местного



общества. В связи с этим я предложил усилить охрану правления, направить туда наших людей и провести ряд целевых облав на Хитровке, но господин Медведев со мной не согласился, он выдвинул свой план: ввести в бандитскую группу под видом уголовного работника розыска.

– Здорово, – сказал Виктор.

Горев иронически на него посмотрел.

– Вы так считаете, потому что слишком мало знаете Хитровку. Наша работа не терпит дилетантов. Здесь одной смелости мало. Вы помните, как погиб Тульке?

– Один погиб, другой останется в живых, – упрямо сказал Виктор.

– Дай бог, дай бог. Мне бы вашу уверенность.

– Кто же пойдет на Хитровку?

– Медведев.

– Шутите? – спросил Виктор.

– Я лично не шучу, что же касается господина Медведева, то можете у него поинтересоваться.

– Дела... – протянул Виктор.

Меня тоже ошеломило сообщение Горева. Так вот почему он тогда говорил о самоубийстве!

Довольный произведенным эффектом, Горев немного помолчал, словно давая нам возможность самим убедиться в абсурдности затеваемого, и уже другим тоном сказал:

– Медведев должен войти в шайку под видом петроградского налетчика Сашки Косого. Его на Хитровке не знают

или, во всяком случае, не должны знать. Наша непосредственная задача обеспечить, насколько это возможно, охрану Медведева и поддерживать с ним связь...

Скрипнула дверь, и в комнату вошел Савельев.

– Относительно сегодняшнего разговора?

– Да, – кивнул Горев.

– Любопытное дельце, любопытное. Только уж больно рискованное! Придется потрудиться, ох как придется! Миловский бы на такое никогда в жизни не пошел – не на тех дрожжах замешан...

Горев сердито на него посмотрел и вдруг улыбнулся.

– Зажегся?

– Зажегся, – чуть смущенно признался Савельев.

С его приходом все как-то оживились. Мы приступили к обсуждению деталей предстоящей операции. Она поистине была уравнением со многими неизвестными. Просидели у Горева мы часа три.

Я слышал, что при уголовном розыске числится гример, он же костюмер, Леонид Исаакович. Но мне он казался чем-то вроде несуществующего персонажа из прочитанного когда-то в детстве. Поэтому, когда Горев предложил мне загримироваться и переодеться, я растерялся. Петр Петрович это заметил.

– Напоминает игру в казаки-разбойники? – спросил он и объяснил: – Самое идеальное было бы направить на Хитровку людей, которые там еще ни разу не были. Но, к сожалению, в Хиве совершенно не знают только Медведева.

– Но я же там был всего один раз...

– Поэтому вас и направляют. Но один раз – это тоже много. Правда, с Севостьяновой вы, по замыслу, встречаться не должны. Но кто может дать гарантию, что такая встреча не произойдет? А Леонид Исаакович – мастер своего дела.

Гример помещался в клетушке, больше напоминающей чулан. Здесь пахло клеем, пылью, пудрой и еще чем-то паленым. Леонид Исаакович, щуплый, подвижный человек лет сорока, встретил меня радушно.

– Присаживайтесь, молодой человек, присаживайтесь. Кого же из вас сделать? Князя, шулера, коммерсанта, гвардейского офицера? Хотя да, князей и гвардейских офицеров уже нету. Остались только бывшие дворяне и военспецы.

«Бывшие» грустно звучит, не правда ли? Бывший человек – сегодняшняя болячка, любил говорить мой старший брат. Очень умный человек был, но всегда делал не то, что требовалось. Когда нужно было кормить семью, он молился Богу, а когда нужно было молиться Богу, чтобы прекратились еврейские погромы, он начал печатать революционные листовки... И даже умер не вовремя – 25 октября 1917 года, когда только нужно было начинать жить...

Леонид Исаакович действительно был мастером своего дела. Когда через пятнадцать минут я стал перед зеркалом, я себя не узнал. На меня смотрела испитая физиономия типичного золоторотца, как часто называли тогда босяков.

– Ну, так как вы себе нравитесь в таком виде? – поинтересовался Леонид Исаакович, довольный делом своих рук. – А теперь разрешите вам предложить соответственный смокинг и штиблеты.

Он вытащил из шкафа опорки, залатанные штаны, засаленную куртку с оборванными пуговицами и помог мне все это натянуть на себя...

– Вот теперь вас и мама не узнает. Хотя нет, мама все-таки узнает, на то она и мама. Мой старший брат говорил, что мама даже в мерзавце узнает своего сына, она не может только разглядеть в своем сыне мерзавца. Очень метко сказано, не правда ли?

Итак, с этой минуты я уже не бывший гимназист, не агент третьего разряда Московской уголовно-розыскной милиции

и даже не Александр Белецкий, а новый житель вольного города Хивы, племянник почетного гражданина одного города Николая Яковлевича Баташова, уклоняющийся от призыва в Красную армию и сегодня приехавший в Москву из Тулы. Такова была вкратце «легенда», которой снабдил меня Савельев. Она подтверждалась паспортной книжкой, адресованным мне в Тулу письмом любимого дядюшки и серебряным портсигаром с трогательной надписью: «Котику в день его ангела от родителей».

Вручив мне все эти доказательства того, что я именно тот, за кого себя выдаю, Савельев сказал:

– Напоследок советую вам также запомнить пять заповедей, которых я всегда придерживаюсь. Первая – никогда не считать, что вы имеете дело с людьми глупее вас. Вторая – свято, но не слепо придерживаться полученной инструкции. Третья – всегда и везде быть готовым к неожиданностям. Четвертая – не думать, что храбрость может заменить ум, а смелость – находчивость. И последняя – уметь все замечать и запоминать.

В зиму восемнадцатого года пострадали многие дома. Не хватало дров, поэтому жильцы ломали деревянные балкончики, отдирали плинтусы, рубили ставни. Но особенно досталось Хитровке. После Октябрьской революции большинство нанимателей квартир отсюда сбежали, и хитрованцы, предоставленные сами себе, растащили все, что можно. Обитатели многочисленных ночлежек ломали нары, выворачи-

вали доски пола, ворошили деревянные крыши. А большой навес посредине площади исчез еще в декабре. Рынок выглядел так, словно здесь только вчера прошли орды Чингисхана. Относительно сохранились только Кулаковка, Утюг и Сухой Овраг, расположенные между площадью и Свиньинским переулком.

Хитровка никогда не отличалась чистотой, а теперь, когда подтаял снег и покатались вниз с прилегающих переулков многочисленные грязные ручейки, она походила на громадную выгребную яму.

Рынок по-прежнему был многолюден: что-то клеили, сшивали и латали местные сапожники и портные, канючили покрытые всевозможными болячками нищие. У зловонных куч с отбросами копались ребятишки. Может быть, среди них был и Тузик. Когда мы его принесли с Виктором от Севостьяновой, он пролежал у меня недолго и, немного окрепнув, ушел. Неужто опять к Севостьяновой?

Мне нужно было найти Баташова, одного из немногих наших агентов на Хитровке. Миловский вообще выступал против агентуры, считая ее «наследием проклятого прошлого». «Агент – это предатель, – говорил он. – Агент предаст своих товарищей. Полиция, создавая агентуру, тем самым растлевала людей, лишая их чести, совести, товарищества, культивируя психологию индивидуализма, корыстолюбия. Мы должны навсегда избавиться от подобных методов». Теоретически все это было очень благородно и красиво, а

фактически дело дошло до того, что уголовный розыск не имел представления о происходящем.

«Новые установки мне ясны. Все ясно, кроме двух маленьких моментов, – говорил Горев, – чем я должен здесь заниматься и за что получать зарплату».

Баташов в недавнем прошлом считался наиболее удачливым «стрелком по письмам», как называли профессиональных нищих, специализирующихся на письменных просьбах о помощи. От своих собратьев по ремеслу он отличался оригинальностью стиля и недюжинным знанием человеческой натуры. Он не перечислял своих несчастий, не жаловался на судьбу, не благословлял заранее благодетеля.

«Милостивый государь! – писал он, например, купцу первой гильдии, известному богачу «с чуднинкой» Палкину. – Хотя я и знаю, что Вы подлец, каких мало, но иного выхода у меня нет. Мне позарез нужны деньги, минимум пять рублей. Указанная скромная сумма мне требуется не на хлеб, без которого по Вашей милости и по милости Вам подобных я уже научился обходиться, а на водку.

В ожидании денег неуважающий Вас, в прошлом такой же мерзавец, как и Вы, а в настоящем житель вольного города Хивы Николай Баташов».

Видимо, ядовитые, наглые строки приятно щекотали заплывшие жиром мозги и нервы. Во всяком случае, резкое письмо Баташова к Палкину не осталось без ответа. Рассказывали, что Палкин даже коллекционировал образчики его

писем. Деньги у Баташова не переводились. Но революция подорвала его благосостояние: богатые люди исчезли. Тогда он сам пришел в уголовный розыск и предложил свои услуги: «Готов служить верой и правдой. Не за страх, а за совесть не говорю, ибо последней не имею».

Так ли все это было или не совсем так, судить не берусь. За время работы в уголовном розыске мне пришлось слышать много затейливых историй. Мне рассказывали о поминальнике Сашки Семинариста, куда знаменитый бандит заносил фамилии убиенных, чтобы затем на досуге помолиться за спасение их душ, о поездке Анны Севостьяновой в Париж под видом русской графини, у которой якобы был роман с гвардейским офицером. А в 1927 году налетчик Васька Коршун на допросе «признался мне», что он побочный сын Николая II, и представил в доказательство своих слов связку писем на розовой бумаге. Но, как я потом достоверно узнал, Сашке Семинаристу некогда было заниматься поминальником, Севостьянова никогда не покидала Москвы, а Николай II не принимал участия в появлении на свет в деревне Малицы в семье мельника Оглохотова седьмого по счету сына Васьки. В чем, в чем, а в этом самодержец всея Руси не повинен. Просто люди дна, пытаясь разукрасить свою грязную, бедную событиями и интересами жизнь, создавали по образцам сочинителей бульварных романов «завлекательные истории», обставляя сцену своего незавидного бытия пышной декорацией выдуманных событий и фактов.



В действительности все было проще, грязней и омерзительней.

Впрочем, то, что относится к Баташову, выглядело довольно правдоподобно, с такими, как он, я встречался и позднее.

Судя по манере держаться, разговаривать, Баташов знал лучшие времена. Вряд ли он был отпрыском голландского короля или царского министра Витте, но в прошлом, до того как спиться и оказаться на Хитровке, он, видимо, занимал какое-то место под солнцем и, наверно, получил соответствующее образование. Что же касается его писем, то и в них можно поверить: купечество любило выдумывать себе причуды, которые считались своего рода показателем благосостояния и находились в прямой зависимости от размеров нажитого капитала. Если какой-нибудь купчишка заявлял о себе разбитым зеркалом в ресторане, то Солодовников, например, или Хлудов могли позволить себе что-нибудь пошарней. Знай наших!

Я подошел к трехэтажному дому, расположенному сразу же за Утюгом, и, кое-как перебравшись через огромную лужу, на которой островками возвышались холмики ржавых жестянок и еще какой-то дряни, остановился у косо висящей на одной петле двери. Здесь я был зимой вместе с Сухоруковым, Савельевым, Горевым. Вон и фонарь, возле которого лежал труп Лесли. Да, Арцыгов отделался ничем. А сейчас что же, дело прошлое...

Я начал подниматься по ступенькам. Главное – не встретиться с Севостьяновой или Тузиком. Правда, узнать меня, по утверждению Леонида Исааковича, могла бы только мать родная, но осторожность прежде всего. До ночлежки я добрался благополучно.

– Где Николай Яковлевич? – спросил я у первого попавшегося мне оборванца.

– А ты кто такой? А, племяш! Ну, давай, сейчас покажу.

Он провел меня в закуток между двумя рядами трехъярусных нар и, нагнувшись, крикнул:

– Вылазь, Яковлевич!

Под нарами послышалось недовольное ворчание и сухой кашель, будто кто-то отщелкивал костяшками на счетах.

– Слышь, сродственник приехал!

Показалась неряшливая седая голова, осыпанная перхотью, блеснуло пенсне. Истощенное узкое лицо, горбатый нос в склеротических жилках, на худой шее сдвинутая набок «бабочка». Да, мой новоявленный дядя ни красотой, ни чистоплотностью не отличался. Ко всему прочему, он еще, кажется, был пьян. Оборванец не уходил, а с соседних нар на меня с любопытством – или мне это только казалось – смотрело несколько пар глаз. Во всяком случае мешкать было нельзя.

– Дядя Коля! – сказал я ненатуральным голосом. – Это я, Костя.

Баташов уставился на меня воспаленными глазами, и, ка-

жется, в них мелькнула искорка разума.

– Костя? Приехал!

Он схватил мою голову и прижал ее к своей груди,дохнув на меня винным перегаром. Так играют встречу родственников в плохих провинциальных театрах. Но оборванец не был избалован талантливым исполнением. Судя по всему, он был удовлетворен и, «сделав мне ручкой», отправился по своим делам. Исчезли головы любопытных и с соседних нар.

Итак, худо ли, хорошо ли, но встреча любящих родственников состоялась.

От Баташова требовалось немного. Он должен был представить меня хозяину ночлежки в качестве своего племянника и поместить рядом с собой на нарах, которые находились как раз против двери, ведущей в притон Севостьяновой. Надо признать, что, хотя Баташов был сильно пьян, со своими обязанностями он справился сносно.

Хозяин ночлежки, кудлатый, в суконном картузе, внимательно меня осмотрел и потребовал «пачпорт». Мой паспорт произвел на него благоприятное впечатление.

– Это хорошо, что пачпорт имеешь, – сказал он, – а то всякая сволота тут шныряет. Держи ухо востро! Деньги есть? Ежели есть, лучше мне на сохранность отдай, чтобы честь по чести. Шпаны набилось. Одно беспокойство Николаю Яковлевичу, – посочувствовал он Баташову. – Даже штоф распить не с кем... Худые времена! Надолго?

Я пожал плечами.

– За место все одно вперед уплати, – решил он. – Теперь никому верить нельзя.

Я уплатил вперед и отправился на Солянку звонить в уголовный розыск, что начало положено.

Вечерело, слабо светились окна домов. В нашей ночлежке зажгли три керосиновые лампы. Возле одной из них расположились, поджав под себя ноги, портные, их было чело-

век восемь – десять, у другой – картежники. Большинство ночлежников уже укладывалось на ночь, среди них были и женщины с детьми. Постукивая клюкой, прошел благообразный слепец с седой бородой, впереди него бежала собачонка. В дальний, неосвещенный угол комнаты, переругиваясь, направилась шумная компания беспризорников.

– Ну-с, в объятия к Морфею? – спросил Баташов.

Я молча полез на нары. Здесь пахло заношенной одеждой, потом, сивухой. Устроившиеся рядом подростки били вшей. Молилась Богу старуха в черном платке, плакал ребенок. Где-то под нами переговаривались, видимо, муж с женой.

– Да не жила я с ним, – убеждал высокий женский голос.

– Врешь, стерва, жила.

Баташов вскоре уснул. Спал он с открытым ртом, похрапывая, дергаясь. Горела только одна лампа, вокруг которой мелькали призрачные тени людей. Через несколько человек от нас надрывно кашлял Женька-наборщик, длинный, узкогрудый, с желтым, как воск, лицом, на котором темными ямами чернели запавшие глаза. Женька, в прошлом типографский рабочий, умирал от туберкулеза. Когда хозяин ночлежки показывал мне на место на нарах, Женька попросил закурить.

– Тебе же вредно, – сказал хозяин.

– Мне теперь ничего не вредно, – ответил Женька, скручивая козью ножку. – Мне жизни осталось самую малость.

Еще недельку-другую протяну и копыта отброшу. Для чахоточных весна самое время с жизнью счеты сводить. – И, заглядывая мне в глаза, спросил: – Веришь, золоторотец, что Женька лучшим наборщиком в типографии Сартакова был? Не веришь? Восемь лет хозяин в пример всем ставил, а начала жрать чахотка, выгнал, кровосос. «Иди, – говорит, – думаешь, не знал, что прокламации под тихую печатаешь? Знал, но терпел, пока нужен был. А теперь иди, Женька, не работник ты. Иди, подыхай, на революцию свою уже с неба смотреть будешь...» Ошибся хозяин: с земли я ее увидел, с земли... А его, гада, вчерась вперед ногами вынесли. Только кровушку он всю мою уже выпил. Пузатый был, что боров, вот такой. – Женька показал, каким толстым был его хозяин, и закашлялся. Харкнул кровавым сгустком, растер его ногой и, сгорбившись, заковылял к своим нарам.

Сколько здесь вот таких Женек, растоптанных хозяйским сапогом и выброшенных за ненадобностью на свалку жизни – Хитров рынок?!

Но ничего, придет и для них светлое время. Придет, в этом я не сомневался.

Задремал я уже под утро. Разбудила меня какая-то возня. – Пусти, родненький! Не убивай, родненький! Люди добрые, помогите! – пронзительно кричала молодая женщина, которую таскал за волосы и тыкал лицом в пол озверевший мужчина в толстовке.

К нему подбежали, схватили за руки. Женщина вырвалась

и, окровавленная, в разорванном платье, выскочила из ночлежки.

– Пятирублевку затырить хотела, а? Пятирублевку, а? – хлопал себя по бедрам мужчина в толстовке. – Да я ей паскудную голову оторву!

– Ну, ну, развоевался! – свесился с нар Женька-наборщик. – Как бы тебе не оторвали!

– А ты, покойник, молчи! – огрызнулся мужчина. – Одной ногой на том свете, а туда же!

За Женьку вступились. Началась ругань.

Баташова рядом со мной не было, пришел он через час, растрепанный, навеселе.

– Гут морген! Как спалось? Какие сны? – игриво спросил он, взобравшись на нары.

Кашляя и сморкаясь, Баташов стал рассказывать хитровские новости. Среди них была одна весьма неприятная: на рынке опять появился Невроцкий.

– Вы не путаете? – насторожился я.

Но Николай Яковлевич был в этом уверен.

– Баташов никогда не путает, молодой человек. Этого быка в золотых очках, которые идут ему, как корове седло, я еще с 1912 года знаю, когда он здесь куролесил с Сашкой Семинаристом. Я видел его ровно час назад в чайной Кузнецова.

Появление Невроцкого могло сорвать всю операцию. Невроцкий, или, как его почему-то прозвали в преступном ми-

ре, Князь Серебряный, вернувшись в конце прошлого года с каторги, праздновал свое возвращение на Хитровке. Он был заядлым картежником и в одну из пьяных ночей проигрался в пух и прах. Срочно нужны были деньги. С двумя револьверами в руках явился в Устинские бани, убил кассиршу и с помощью дружков забрал все белье моющихся, которые остались в чем мать родила.

Дерзкое ограбление проходило среди белого дня. Группа сотрудников уголовного розыска во главе с Груздем, который никак не мог усидеть в своем кабинете, задержала его в трактире, но по пути в розыск Невроцкому удалось соскочить с пролетки и скрыться. Его сообщник Глухой показал на допросе, что Невроцкий в тот же день уехал куда-то на юг. Действительно больше о нем никто ничего не слыхал, и вот он снова здесь.

Безусловно, Невроцкий запомнил Груздя и сразу же его при встрече опознает, а это приведет к провалу всей операции: ведь на Хитровке Груздь – это дружок Сашки Косого... Что же делать? Звонить Мартынову, чтобы тот срочно организовал облаву? Но время не терпит, да и слишком мало шансов, что Невроцкого, который знает на Хитровке все ходы и выходы, удастся найти. Предупредить Груздя или Медведева?

Но где их найдешь? Может, заглянуть в чайную Кузнецова, где должен быть Виктор, возможно, он знает?

Я встал и увидел, как дверь в ночлежку широко распах-



нулась. Вошли Груздь, Медведев и еще двое. Одного из них, приземистого с крупными рябинами на приплюснутом, широком лице, я узнал по описаниям – это был Мишка Рябой.

Груздь подошел к группе играющих в карты и незаметно мне подмигнул. Я ему ответил тем же и, сделав условный знак, прошел в закуток, где нас никто не смог бы увидеть. Все решалось само собой. Но в следующую секунду я почувствовал за своей спиной чье-то тяжелое дыхание. На чловеке, стоявшем за мной, были золотые очки. Он пристально смотрел на Груздя. Невроцкий! Груздь его тоже узнал. И тут Груздь сделал единственное, что он мог сделать, чтобы не провалить Медведева.

– Держи Сашку Косого и Невроцкого! – дико закричал он, приседая и выхватывая наган.

У входа я заметил Сеню Булаева с громадным смит-вессоном в руке.

Дальнейшее произошло с молниеносной быстротой. Пронзительно заверещал милицейский свисток, суматоха, давка. Я видел, как Медведев швырнул табуретку в висячую керосиновую лампу. В темноте лихорадочно захлопали выстрелы. Затем все стихло, только монотонно падали капли, видимо, вытекал керосин из разбитой лампы. Я сорвал с окошка тряпку. В ночлежке посветлело. «О господи, о господи», – бормотала какая-то женщина сидя на полу и часто крестясь. Ее насмешливо утешал басистый мужской голос: «Не вой, маруха, что отстреляли пол-уха, судьба не муха, ли-

куй, что не полбрюха».

Медведева, Груздя, Невроцкого, Сени Булаева и Мишки Рябого в ночлежке не было. Значит, видимо, никто из них не пострадал. Я вышел на волю. Хитров рынок жил своей обычной жизнью. К выстрелам здесь привыкли. Мимо меня прошел Сеня Булаев, не поворачивая головы, сказал:

– Все в порядке.

Так спутался план операции, тщательно разработанный до мельчайших деталей на ночном совещании у Александра Максимовича. Жизнь внесла свои коррективы.

Новая обстановка, в которой теперь приходилось работать, имела, как выражался Груздь, свои «арифметические плюсы и арифметические минусы».

После всего случившегося Медведев был у уголовников вне подозрения. Но система связи с ним нарушилась: Груздь вынужден был покинуть Хитровку. Сеню Булаева Мартынов тоже снял с рынка, так как его могли заметить во время перестрелки.

Только в эти дни я понял по-настоящему, что такое напряженная работа. Теперь на Хитровке остались лишь Медведев, Сухоруков и я. Мы с Виктором должны были наладить информацию, постоянно поддерживать двустороннюю связь между Медведевым и уголовным розыском и принимать все меры к охране Александра Максимовича. Последнее было особенно трудно, так как Сашка Косой частенько находился в таких местах, куда ход нам, «обычным золоторотцам», был

заказан. Поэтому пришлось более широко использовать Баташова. Между тем Николай Яковлевич, напуганный происшедшим, начисто отказался принимать какое-либо участие в операции. Пока удалось его уломать, намучились немало. А события развивались стремительно...

В чайной теперь часто бывали Разумовский, Невроцкий, Мишка Рябой и налетчик Лягушка (его мы безуспешно разыскивали после нескольких налетов, среди которых было и ограбление бывшего универсального магазина фирмы «Мюр и Мерилиз» на Петровке).

Через Баташова Медведев передал, что пришла «ксива» и Разумовский ждет приезда «деловых ребят» из Питера.

Узнав об этом, Горев начал настаивать на необходимости «кончать маскарад и попытаться взять бандитов в чайной». Но Мартынов только качал головой.

– Вы понимаете, что приезд уголовников из Петрограда – это смерть Медведева?

– Понимаю. Но приказания нарушить не могу. Савельев звонил в Петроград, и там обещали их перехватить.

– А если кто-нибудь из них все-таки проскочит?

– «Если» не будет.

На всякий случай решено было усилить наблюдение за чайной Кузнецова. Вскоре я и Виктор туда перебрались, поместившись в каморке. Мы уже знали, что Медведев вместе с Невроцким, Разумовским, Мишкой Рябым и Лягушкой вошли в дело.

Наступила жаркая пора, нервы были напряжены до предела. Неужто в Петрограде не смогут арестовать гастролеров? Но во время одного из докладов Мартынов мне сказал:

– Передай, что все в порядке. Гостей на Хитровке не будет.

Стало известно, что руководят налетом Мишка Рябой и Невроцкий. Невроцкий считал, что самое важное – бесшумно уничтожить охрану правления железной дороги. Здание хорошо охранялось. У подъезда круглосуточно стояли два вахтера, а в дежурной комнате находились шесть сменщиков. Нападение на охрану с улицы неизбежно должно было привести к перестрелке, а следовательно, к неудаче. В течение трех дней дом тщательно обследовался, заходила туда под видом просительницы и Севостьянова. Наконец обнаружили винтовую лестницу на чердак. Двери чердака были заколочены, но открыть их не представляло особой сложности, тем более что на крышу вела пожарная лестница. Мишка Рябой уже дважды лазил на чердак и убедился, что вход полностью безопасен. Группа в шестнадцать человек должна была пробраться через чердак в здание и бесшумно вырезать охрану сначала в комнате, а потом и у подъезда. После этого Невроцкий подавал знак «стремщику», караулившему на улице, и тот вызывал грузовики, которые до этого должны были стоять за углом.

Единственным нерешенным моментом оставалось место сбора перед налетом. Мишка Рябой предлагал собраться

на Хитровке в Сухом Овраге, но против этого выступили Невроцкий и Севостьянова: Хитров рынок находился под наблюдением уголовного розыска. Этим обстоятельством и воспользовался Медведев. Он сказал, что год назад, когда он «работал» в Москве, он пользовался для аналогичных целей квартирой в доме Афремова. Квартира эта имела черный ход, через который можно было пройти, минуя глаза любопытных.

Дом, о котором шла речь, пользовался тогда широкой известностью. Выстроенный богатым купцом Афремовым, он был одним из первых восьмиэтажных домов в Москве. Жильцы его, как правило, не знали друг друга и не обращали внимания на появление новых лиц. Дом имел еще и то преимущество, что находился недалеко от правления дороги.

Поэтому мысль Сашки Косого понравилась. На следующий день Севостьянова поехала в Орликов переулок. Она внимательно осмотрела квартиру и одобрила выбор.

В налете должны были участвовать двадцать три человека. Некоторые из них друг друга не знали. Сбор был назначен между десятью и половиной двенадцатого. На всякий случай приходить решили поодиночке. Керосиновая лампа с оранжевым абажуром, выставленная на подоконник второго окна справа, означала, что все спокойно.

К вечеру в квартире, «хозяином» которой был один из работников розыска, собралось двенадцать сотрудников и красноармейцев боевой дружины. Первым взяли Мишку Ря-

бого.

– Фартовый ты парень! – восхищенно говорил Рябой Сашке, поднимаясь вместе с ним по лестнице. – Только прихрюл, а тебе все: и дружки, и бабы, и кругляки. Сколько я тебя знаю? Мизер. А люблю.

Его красное рябое лицо и затуманенные кокаином глаза выражали преданность.

– Ты мне скажи, что желаешь? Все отдам!

Медведев крепко стиснул своими железными пальцами кисть его правой руки.

Мишка рванулся, но его ударили сзади по затылку и сбили с ног.

– Затыкайте рот, связывайте и живо в третью комнату, – распорядился Медведев. – Остальных брать в прихожей. Только без шума.

На протяжении часа было задержано пятнадцать человек. Все делалось настолько молниеносно, что никто не успел не только оказать сопротивление, но даже крикнуть. Всех их связывали и складывали в глубине квартиры, где они находились под охраной Сени Булаева и Груздя.

Словоохотливый Сеня Булаев не мог удержаться от маленькой нравоучительной беседы. Вернее, это была не столько беседа, сколько лекция, так как у всех собеседников были заткнуты рты. Сеня уже успел довольно убедительно, к вящему удовольствию Груздя, вскрыть социальные корни бандализма и обосновать необходимость его уничтожения, ко-

гда на лестнице гулко прокатился выстрел. Кое-кто из лежащих бандитов зашевелился и приподнял голову.

– Урок политграмоты прерывается! – объявил Сеня. Его благодушное лицо сразу же стало жестким и настороженным. – Шевелиться не рекомендую. В случае чего перестреляем всех!

Стрелял Невроцкий. Осторожный и хитрый, Князь Серебряный дважды прошелся вокруг дома, пытаясь заглянуть за плотно затянутые шторы, потоптался у входа, присматриваясь, нет ли чего подозрительного, и, наконец, медленно начал подниматься по ступенькам. На лестничной площадке второго этажа он остановился и прислушался: видимо, какой-то шорох показался ему подозрительным. Шло время, а он стоял. Каждую секунду могли подойти остальные участники ограбления. Сотрудник, притаившийся в передней, не выдержал: он быстро распахнул дверь и кинулся на Невроцкого. Тот выстрелил и с удивительной для его лет быстротой помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки.

Но улизнуть ему на этот раз не удалось: в подъезде его уже ожидали Сухоруков и двое красноармейцев.

Встревоженные выстрелом, обыватели зашевелились. В окнах замелькал свет. Кто-то даже загремел дверной цепочкой.

– Успокой. Чтобы через секунду все спали, – приказал Медведев Мартынову.

Внушения Мартынова подействовали: вскоре весь дом за-

мер и снова погрузился в темноту.

Остальные участники ограбления, в том числе Разумовский и Лягушка, были взяты без всякого шума.

Так закончилась эта операция, о которой потом долго вспоминали сотрудники розыска. Почти вся преступная верхушка «вольного города Хивы» была арестована.

«Хитровское дело» не только создало новому начальнику непререкаемый авторитет, но и заставило нас поверить в свои силы. В последующие две недели были ликвидированы банды Адвоката, Мартазина, Сынка.



Зловещей была весна 1918 года. Свиристствовал брюшной тиф, вспыхнула эпидемия холеры. Когда стоял снег, мимо свалок нечистот можно было пройти, только зажимая нос. Вода в Москве-реке была густой и черной, как деготь. На мелких волнах качались раздувшиеся трупы собак и кошек, обломки бревен. Кругом грязь, запустение. Даже солнце казалось каким-то тусклым, запыленным. И самое страшное – угроза голода. Люди недоедали. Обвисли щеки Груздя, еще больше вытянулось узкое лицо Виктора, чаще рассказывал о петроградских трактирах Сеня Булаев.

В мае я впервые увидел на улице человека, умершего от голода. Это был старик с грязно-седой бородой, в нижнем белье: верхнюю одежду с него успели снять мазурики. Рот умершего был широко открыт, в одной руке он сжимал голову воблы, другая была подогнута под живот. Недалеко от трупа стояло несколько взъерошенных, тощих собак с поджатыми хвостами. Прохожие поспешно проходили мимо. Собаки скалили зубы и все плотней сжимали кольцо вокруг трупа...

От Тузика я узнал о смерти Женьки-наборщика.

– В аккурат двадцать седьмого мая преставился, – сообщил он. – Думал, от чахотки помрет, а помер с голодухи. Да и Баташов Николай Яковлевич – не знал случаем такого? – на ладан дышит...

Голод приближался неотвратимо. Болезни и голод. В газетах по соседству с фронтовыми сводками замелькали сообщения: «Организуется лига борьбы с заразными заболеваниями», «В Москву сегодня прибыло столько-то вагонов с хлебом», «Продотрядовцы с завода Михельсона сообщают...», «Крестьяне шлют хлеб своим братьям...».

– Ну как, займемся огородничеством? – подмигнул мне Сеня Булаев, который в самых трагических ситуациях сохранял способность шутить.

Он протянул мне объявление, явно предназначавшееся на курево.

«Граждане! – писалось в нем. – Мы недоедаем. В двери наших домов стучится голод. Пощады от него не будет никому. Защита от голода и его последствий в наших руках. Перед нами массы пустующих земель. В грозные голодные годы преступно оставлять неиспользованной даже одну пядь земли. Все пустыри и заброшенные земли должны быть разработаны и заняты овощами. Уделяя огородничеству не более двух часов в день, взрослый мужчина или одна взрослая женщина смогут возделать до 300 квадратных саженей огорода.

Центральная огородная комиссия».

Энтузиасты из центральной огородной комиссии все подсчитали, все предусмотрели, забыв только одно: для того чтобы возделывать огороды, надо было иметь что сажать...

– Ну так как, займемся? – повторил свой вопрос Сеня. –

Посидел двое суток в засаде, вернулся – картошечку посадил. Пострелял малость в бандитов – огурчиками занялся... – И неожиданно спросил: – Жрать небось хочешь?

– Не особенно.

– Интеллигент паршивый! – выругался Сеня и достал из ящика стола полбуханки ситного хлеба. – Мать из деревни прислала, шамай... Ну, чего глядишь? Шамай, говорят.

– Ну что ты, – смутился я.

– Тяжелый вы народ, интеллигенты, церемонии любите! – Он разломил хлеб на две части, присолил и протянул один кусок мне. – Давай, давай.

Таким был Сеня Булаев, парень, которого я раньше в глубине души считал легкомысленным эгоистом, ничего не замечающим вокруг себя. Жизнь заставила меня изменить оценку и Груздя и Медведева. Черствый и резкий на первый взгляд, Медведев неожиданно оказался исключительно душевным человеком, к которому тянулись сотрудники, чтобы поделиться своими бедами и горестями. А бед в то время было немало: у одного семья оказалась на оккупированной территории, у другого сын лежал при смерти и требовалось раздобыть хорошего врача... И всегда, когда мог, Медведев помогал. Ведь именно он добился освобождения Горева и Корпса, когда они были арестованы, как бывшие офицеры. Но душевность Медведева не бросалась в глаза, а я замечал только то, что было на поверхности. Оно и воспринималось мной как характерное, определяющее.

Боевая дружина уголовного розыска почти в полном составе была отправлена на фронт на подавление чехословацкого мятежа. Работы прибавилось. Больше всего доставалось особой группе. Я никогда раньше не думал, что сон может стать такой недостижимой мечтой. Какое счастье снять тяжелые, набившие ноги сапоги, размотать портянки, пошевелить голыми пальцами и уснуть...

В довершение ко всему Медведев издал приказ, обязывающий всех сотрудников, свободных в дни занятий от облав и других «служебных мероприятий», посещать кружок грамоты. Арцыгов, который пропустил первое занятие, был посажен на сутки под арест. Александр Максимович шутить не любил.

Руководитель кружка приходил к нам раз в неделю, по воскресеньям. Это был краснощекий, белокурый студент в лихо заломленной фуражке. Держал он себя с нами запанибрата, глухо хлопал по спинам, рассказывал анекдоты. У студента была длинная, трудно выговариваемая польская фамилия, начинавшаяся с буквы «ч». Ее никто не мог запомнить, и с легкой руки Сени Булаева его назвали просто товарищем Ч.

Хорошо помню первое занятие, которое товарищ Ч посвятил шутливой исповеди Карла Маркса.

– Самым главным достоинством в людях, – говорил он, – Маркс считал простоту. А на вопрос, какое достоинство он больше всего ценит в женщине, великий философ ответил:

«Слабость».

– Не согласен! – крикнул с места Груздь.

– С чем не согласен? – поразился товарищ Ч.

– С товарищем Марксом не согласен, – заявил Груздь. – Может, для жен интеллигентов это и подходит, а для наших – никак. Посуди сам. Детей она должна рожать? Должна. По домашнему хозяйству должна управляться? Должна. А слабая будет, какой с нее толк? Нет, не согласен с товарищем Марксом.

Товарищ Ч не совсем удачно начал было говорить о положении женщин при капитализме и коммунизме, о том, что исповедь Маркса носит шуточный характер, что подобные высказывания нельзя понимать так прямолинейно, но Груздь упрямо повторял:

– Говори что хочешь, а у меня с товарищем Марксом по этому вопросу коренные разногласия.

Голова товарища Ч с легкостью вмещала в себя самые разнородные знания, он был, что называется, «ходячей энциклопедией». Но объяснял плохо, перескакивая с одной мысли на другую, совершенно забывая про уровень аудитории. Особенно раздражали многочисленные иностранные слова, которыми он обильно уснащал свою речь. Но Груздю, кажется, именно это больше всего и нравилось. В то время как кое-кто пытался по возможности незаметно вздремнуть, Груздь был весь внимание. Он даже завел себе специальный словарь непонятных слов. Как-то этот словарь попал мне в руки.

На первой странице значилось: «Атеизм – религия – опиум для народа. Гегемон – то есть мы. Дуализм – и вашим и нашим. Идеализм – поповщина. Материализм – то, что нужно. Империалисты – спекулянты, буржуи и прочая сволочь».

– Что есть государство? – любил экзаменовать Груздь Сению Булаева. – Не знаешь? А между тем раз плюнуть. Государство есть орудие принуждения. А кто есть у нас господствующий класс?

– Отстань, Христа ради! – просил Сеня.

– Нет, не отстану. Кто есть господствующий класс?

– Матросня? – подмигивал Арцыгов.

– Врешь. По своей политической безграмотности ни бельмеса не понимаешь, – невозмутимо парировал Груздь. – Матросы, солдаты и казаки не класс. Если рассуждать диалектически, то господствующий класс есть пролетариат, то есть рабочие и крестьяне – одним словом, гегемоны. Ясно?

Сеня подтверждал, что ему все ясно. Но избавиться от Груздя было не так-то просто.

– А если ясно, то растолкуй мне, что такое гегемон?

– А что тут растолковывать? Каждому шкету понятно, гегемон он и есть гегемон, – хитрил Сеня.

– Не знаешь, – торжествовал Груздь. – Блох давил, когда товарищ Ч марксистскую концепцию давал. А гегемоны между тем те, кто властвует. А кто властвует? Мы с тобой.

– На пару, значит, властвуете? – вставлял Арцыгов.

– А то как же? Не будем же тебя, недоумка, третьим в ком-

панию брать, – отвечал Груздь.

Экзамен по политграмоте обычно заканчивался тем, что, выйдя из терпения, Сеня делал зверское лицо и кричал:

– Готской программой клянусь, на братоубийство меня толкаешь! Не заставляй грех на душу брать.

Груздь спокойно переживал, когда смолкнет взрыв хохота, а потом заключал:

– Дурак, он дураком и останется, даже если по исторической случайности в класс гегемонов попадет.

Груздь любил, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним.

Война, голод, разруха, неустроенность, бандитизм... А жизнь продолжалась. Люди рождались и умирали, женились и расходились. И каким бы ни было лето 1918 года, а в московских скверах по-прежнему ночи напролет сидели влюбленные пары, а в Сокольниках заливались соловьи. И Сеня Булаев не только ловил бандитов, рассказывал смешные истории и показывал фокусы, но и ухаживал за машинисткой Нюсей из Наркомата почт и телеграфов, с которой ходил в школу танцев с красивым и непонятным названием «Гартунг». И ухаживал он за ней так, как ухаживали за девушками до него и после него. Правда, иногда вместе с букетом цветов он вручал ей кусок сала или воблу. И Нюся не делала различий между цветами и воблой, потому что она все-таки была девушкой 1918 года, голодного года. О чем они, уединившись, говорили, не знаю, но мне почему-то казалось, что они не обсуждали фронтовых сводок, во всяком случае сообщения с фронта были не главной темой их бесед. Не знаю также, была ли Нюся красивой, скорее всего нет, но нам она казалась красавицей. И, подшучивая над Сеней, мы в глубине души все-таки ему завидовали. Я даже предлагал Виктору сходить как-нибудь для смеха в «Гартунг». Он, кажется, не возражал, но мы туда так и не выбрались, хотя бывали во многих местах, посещение которых не входило в наши пря-



мые обязанности.

Видимо, тогда, как и теперь, в сутках было ровно двадцать четыре часа. Но мы за эти двадцать четыре часа успевали все: допросить бандита и побеседовать с агентом с Грачевки, заштопать продранный китель и задержать валютчика, разобрать на оперативном совещании последнюю операцию и принять самое активное участие в общественном суде над Евгением Онегиным. Кстати, общественные литературные суды стали к тому времени повальным увлечением. На молодежных сборищах особенно доставалось Печорину, о котором Груздь говорил, что именно для таких типов революционный пролетариат отливает свинцовые пули на заводах. Мне, честно говоря, Печорин нравился, но я не рисковал, даже будучи официальным защитником, его оправдывать, а только робко просил суд учесть смягчающие его тяжелую вину обстоятельства. И только Нюся, устремив мечтательно глаза куда-то поверх наших голов, упрямо говорила: «А все-таки он был хороший». И хотя это звучало неубедительно, Сеня Булаев как-то смущенно замолкал и, обращаясь к нам, говорил:

– А фокус с медалью знаете?

Мы знали этот фокус и возмущались беспринципностью Сени, но делали вид, что ничего не понимаем.

Пример уголовного розыска Леонид Исаакович относился к нашим увлечениям скептически.

Прежде чем стать вином, виноград бродит, – говорил он

и спрашивал: – Как вы считаете, чехи, немцы, американцы, деникинцы, дутовцы – не слишком ли это много для народа, который сделал революцию и только хочет, чтобы его оставили в покое? Мой старший брат говорил, что Бог всегда выполняет просьбы людей, он только путает иногда адреса и дает счастье не тому, кто его об этом просил. Боюсь, чтобы и сейчас он не перепутал адрес...

– Не перепутает, Леонид Исаакович, – обычно отвечал Виктор, – а перепутает, так мы его подправим...

– Да, старик устал от непорядков на земле, – кивал гри-  
мер. – Ему нужны помощники, а то он может все перепутать, ведь его просят миллионы людей, и все о разном. Мой сосед, например, купец Блатин, уговаривает Всевышнего покончить с большевиками. Так и молится: «Уничтожь, Господи, большевиков, порождение Сатаны. А если не можешь этого, Господи, то помоги мне бежать за границу».

– Заграница его не спасет, – смеялся Виктор. – Мировая революция и до заграницы дотянется. Скоро рабочий класс везде подымется.

В то, что мировая революция – дело ближайших месяцев, а может быть, и дней, верили многие. И когда приходилось особенно трудно, обычно кто-нибудь говорил: «Недолго мучиться. Вот грянет мировая...»

Я хорошо помню митинги на заводах, фабриках и на улицах, когда телеграф принес весть о революции в Германии. Это сообщение было воспринято как начало долгожданной

мировой революции. Люди обнимали друг друга, поздравляли, некоторые плакали от радости...

Жить у меня Тузик наотрез отказался, но заходил часто. Иногда забегал на несколько минут, а порой оставался и на два-три дня. Соседи относились к нему настороженно. Жена доктора, толстая неряшливая женщина с выпученными глазами, демонстративно закрывала на всякий замок свой шкафчик на кухне и просила мужа: «Бобочка, ты посиди здесь на всякий случай, пока этот босяк не уйдет...»

Меня это раздражало, но сам «босяк» не обращал на эти меры предосторожности никакого внимания и, хитро мне подмигивая, спрашивал: «Опять эта корова всю ночь ложки пересчитывала?» Впервые Груздь увидел его у меня вскоре после выздоровления.

- Здорово, шкет!
- Здорово, матрос! – в тон ему ответил беспризорник.
- Шустрый! – поразился Груздь и поинтересовался: – Ты откуда такой?
- С Хитровки.
- Житель вольного города Хивы? Ясно. А кличут как?
- Тузиком.
- Гм, какая-то кличка собачья. У нас на корабле кобель Тузик был. Выдумает же буржуазия такое: Тузиком человека прозвать. Ты же крещеный?
- Все может быть, – согласился Тузик.
- Ну, родители-то как нарекли?

– Тимофеем.

– Тимоша, значит? Вот это другой коленкор. Ой, Тимоша-Тимофей, хочешь жни, а хочешь сей! Ну, Тимофей Иванович, на голове стоять умеешь?

Груздь снял пояс с двумя маузерами и, побряхтывая, стал на голову. Лицо его налилось краской, с подошв сапожищ на пол посыпались комки земли.

– Силен, бродяга! – с уважением сказал Тузик. – А на одной руке стойку сделать можешь?

– Запросто.

Груздь сделал стойку на одной руке.

– А колесом перекувыркнуться сможешь?

Груздь сделал колесо.

– Силен, – снова сказал Тузик и с этого момента проникся к Груздю уважением, которое уже ничто не могло поколебать.

Когда Груздь доставал кисет, Тузик тотчас же чиркал зажигалкой. Когда Груздю что-нибудь было нужно, Тузик сложив голову кидался выполнять его поручение.

Оказалось, что у этого смешливого, независимого беспризорника душа романтика, жадная до всего необычного и красивого. Тузик мог часами слушать рассказы Груздя про далекие тропические страны, где курчавые черные люди ходят почти совсем голыми по раскаленному золотому песку и грузят на большие пароходы ящики с кофе и бананами, про раскидистые пальмы, колючие кактусы и экзотические деревья

со звучным названием баобаб. На вопросы Тузик был неистощим.

– А там революция тоже будет?

– Сам посуди, – обстоятельно объяснял Груздь, – пролетариат там есть? Есть. Мировая буржуазия есть? Есть. Эксплуатация есть? Есть. Материализм есть? Есть. Тогда об чем речь? А революция в России для них арифметический плюс, потому что вроде примера. Увидят, как мы распрекрасно живем без буржуев, и сами так же распрекрасно жить захотят...

– Ну уж распрекрасно, – говорил Тузик, – жрать-то нечего.

– Тебе бы все жрать... А ты рассуждай диалектически: почему нечего жрать? Потому что разруха. Вот покончим с буржуазией и с ее прихвостнями – всякими спекулянтами и бандитами – и возьмемся за ликвидацию разрухи. Уяснил?

Авторитет учителя был непререкаем. Только раз в душу Тузика закралось сомнение, когда Груздь заявил, что после мировой революции ни одного сыпнотифозного не останется: ни в Англии, ни в Бразилии, ни в России.

– В Англии может быть, а в России навряд.

– Это почему?

– А потому что сыпняк от вшей, – со знанием дела объяснил Тузик.

– Вот их и не будет!

Тузик подмигнул мне и неудержимо расхохотался.

– Загибай! – А когда Груздь разгорячился, примиряюще сказал: – Я же не говорю, что их миллионы будут, но тысячи полторы останется...

Зато насчет ликвидации преступных элементов у Тузика не было никаких сомнений.

– Вот это точно, – говорил он. – Медведев все может. Как он Князя Серебряного и Мишку Рябого к ногтю! Его у нас во как бояться!

Медведев для Тузика был легендарной личностью, которая воплощала революцию. Правда, узнав от Груздя, что Медведев не умеет делать стойку на голове, он немного разочаровался, но, поразмыслив, сказал:

– Это ничего, ликвидируем преступный элемент, и после мировой революции запросто научится.

Тузик впитывал в себя все, как губка. Он охотно слушал рассуждения Груздя про гегемона революции и про жизнь во флоте, мнение Груздя о бесклассовом обществе и о роли интеллигенции в революции.

– У шкета классовое самосознание на самом что ни на есть недостижимом уровне, – восхищался Груздь. – Его бы грамоте научить – всех за пояс заткнет, даже товарища Ч. Тот башкой мировые закономерности усваивает, а этот сердцем.

И Груздь раздобыл где-то затрепанный букварь. Читать Тузик научился скоро, но дальше дело почему-то не пошло.

С Мартыновым, которого Сеня прозвал Бородой, мне приходилось сталкиваться сравнительно мало, в основном на оперативках, так как я обычно имел дело с Горевым, который «шефствовал» над Хитровкой, и Савельевым. На меня он производил впечатление человека смелого, добросовестного, но, как говорится, не хватаящего звезд с неба. Видимо, этому способствовала еще и молчаливость Мартынова, о которой в розыске ходили анекдоты. Мартынов предпочитал отмалчиваться и на работе, и на политзанятиях. Но две-три операции, которые провел Мартынов, заставили меня взглянуть на него по-иному. Мартынову, в отличие от Савельева, не хватало знания преступного мира и воображения, которое я до сих пор считаю одним из немаловажных достоинств оперативного работника, но эти недостатки восполнялись трезвым мужицким умом, знанием человеческой психологии, жизненным опытом. Разработанные им операции напоминали грубо, но крепко сделанную мебель. Такой мебелью не будешь хвастаться: нет легкости, изящества, плавности линий, но она тебя и не подведет. Нравилась мне и его манера допрашивать людей. Мартынов никогда не сердился, не выходил из себя. И ему, как правило, удавалось установить контакт с допрашиваемым. Никогда не забуду, сколько я и Виктор промучились с неким налетчиком по кличке Пан.

Дело было ясным, как у нас тогда выражались – «цветным». Мы располагали доказательствами, изобличающими Пана в ограблении. Но Пан ни в чем не признавался, более того, он просто над нами издевался. Мы с ним провозились дня три, и тогда Мартынов, зайдя в кабинет Виктора, сказал ему:

– Иди проветришь, а мы тут потолкуем.

Через полтора часа Пан подписал протокол допроса, в котором полностью признавал свою вину. «Как вы этого добились, Мефодий Николаевич?» – приставал я к Мартынову. «Да я не добивался, – объяснял он. – Как-то само, что ли, получилось. Из крестьян он... Об урожае поговорили... То да се... Он и раскис. Неплохой парень, может, еще толк с него будет... о марухе своей все печалится. Ты распорядись, чтобы писульку ей разрешили передать. Я обещал».

К сотрудникам группы он относился по-товарищески, но каким-то чутьем всегда чувствовал грань, через которую нельзя переходить, чтобы не перестать быть для нас начальником. Относился он к нам ровно, выделяя только Горева и Арцыгова. К Гореву отношение у него было настороженное, недоверчивое, будто он все время ожидал, что Петр Петрович обязательно подложит свинью, хотя тот и работал добросовестно. Зато Арцыговым он откровенно восхищался, спасая его от всяческих мелких неприятностей, которые постоянно грозили тому из-за его необузданного характера. Впрочем, Мартынов так же тщательно оберегал и других «своих ребят». Когда Медведев хотел кого-либо из нас вне оче-



реди назначить дежурным, прикомандировать временно к МЧК или послать в объединенное патрулирование, Мартынов обязательно отпраплялся к нему для объяснения. Заходил мрачнее тучи, садился.

– Что у тебя, Мефодий Николаевич?

– Да вот, уходить обратно в ЧК хочу...

– Чего так?

– Не уважают меня здесь...

– Кто же тебя не уважает?

– Ты сам, Александр Максимович, не уважаешь. Через голову действуешь, человека без спросу берешь...

Обычно этот разговор заканчивался тем, что Медведев говорил:

– Знаешь, как это называется? Шан-таж. А меня шантажом не проймешь. Понял?

– Понял, Александр Максимович. Значит, обойдешься без моего человека? Ну спасибо тебе.

Медведев только махнет рукой и засмеется.

Но, отстаивая своих сотрудников перед Медведевым и вообще «посторонними», Мартынов никому из нас не давал спуска. Он умел и унижить человека, и пристыдить. Поэтому, когда он сообщил о совещании группы, на котором должны были подводиться итоги работы за первое полугодие, многие нервничали. Сам факт созыва такого совещания уже не предвещал ничего хорошего: с чего вдруг совещание? Собрались мы в кабинете у Мартынова. На этот раз в сборе были все.

– Ну давай, Федор Алексеевич, докладывай, – предложил Мартынов Савельеву, который перебирал у себя на коленях листки бумаги.

Савельев, еще более обрюзгший за последние месяцы, нехотя встал, откашлялся и, не отрывая глаз от бумаги, начал говорить. Он перечислял фамилии и клички бандитов, которые были нами задержаны, вкратце упоминал о наиболее крупных преступлениях, совершенных ими. Гришка Разумовский, Рябой, Водопроводчик, Невроцкий, Адвокат, Мартазин, Сынок, Пантюшка Слепой, Кальве, Сабан, Никольский... Фамилии мелькали одна за другой. Да, поработали мы здорово. Когда Савельев закончил, Мартынов, собрав в кулак свою роскошную бороду, спросил:

– Как, нравится?

Мне очень хотелось выразить свои чувства, но что-то в голосе Мартынова настораживало, и я предпочел промолчать.

– Нравится? – повторил вопрос Мартынов.

Встал Груздь. Он всегда действовал напролом, без учета обстановки.

– Чего зря говорить? Если рассуждать диалектически, доклад что надо. Поработали здорово.

– Ну раз так здорово поработали, – уцепился Мартынов, – то я думаю, что к докладу еще несколько строк допечатать надо.

– Это какие же строки, Мефодий?

– Ну как какие? «В связи с распрекрасной работой бан-

дитизм в столице республики заодно со всеми корнями ликвидирован. Прошу сотрудников наградить, а группу распустить по домам за ненадобностью». Вот это допечатать – и ажур.

– Это ты зря, хватил лишку...

– Так оно по докладу получается. А наемники ко мне вдова сотрудника МЧК Ведерникова приходила. «Не нашли, – говорит, – убийцу моего мужа?» – «Нет, – говорю, – не нашли». Не знал я тогда, что мы так распрекрасно работаем...

– Короваева и Ведерникова банда Кошелькова убила, – вставил Сеня Булаев.

– Кошелькова? – сделал непонимающее лицо Мартынов. – Какого Кошелькова? Что-то я его в списке не приметил... Может, пропустил? Сделай милость, дай списочек свой, Федор Алексеевич.

– Ни к чему, Мефодий Николаевич, – сказал Виктор. – Что сделали, то сделали, а чего не сделали, того не сделали.

– Вот это уже другой коленкор. Я к тому и говорю, что оркестр вызывать рано, – хлопнул ладонью по столу Мартынов. – Докладная-то начальству пойдет. Чего ей сделается? Чего добились, того у нас не отнимут, а с хвастовством подожди. Одна гречневая каша сама себя хвалит. Короваева и Ведерникова Кошельков пострелял? Пострелял. Нападение на Сытинскую типографию совершил? Совершил. Правление Виндаво-Рыбинской дороги ограбил? Ограбил. А Федор Алексеевич победную реляцию читает. Дескать, вот какие

мы молодцы!

Таких длинных речей Мартынов еще никогда не произносил и, по-моему, сам был немного поражен своей тирадой.

Открылась дверь, и вошел Медведев. Мы все встали.

– Садитесь, товарищи, продолжайте.

– Да у нас-то, почитай, все. Обговорили, – сказал Мартынов.

Посмотрев на начальника особой группы, Александр Максимович, видно, понял, в чем дело.

– Все распекаешь?

Мартынов сделал недоуменное лицо, борода его и то выгнулась вопросительным знаком.

– Распекать? За что распекать? Ребята один к одному. Если б везде такие были, дела бы как по маслу шли...

Груздь хмыкнул. Мартынов бросил на него свирепый взгляд и уже не так горячо закончил:

– Ругать их не за что. Процент раскрываемости пятьдесят три. Где у тебя еще такой? То-то же.

– Ну если доволен, хорошо, – сказал Александр Максимович, и мне показалось, что в его глазах мелькнула смешинка. – А раз закончил, идем ко мне, поговорим.

Последнее время распространились кражи «на плевок». Они не отличались хитроумием, но почти всегда проходили успешно. Кассир, допустим, приходил в банк за деньгами, пересчитывал пачки и опускал их в свой саквояж. В этот момент стоящий рядом с ним прилично одетый гражданин го-

ворил в ужасе: «Боже мой! Где вы так испачкали спину?!» Кассир оборачивался и убеждался, что спина действительно страшно испачкана. Он начинал чиститься с помощью прилично одетого гражданина, потом благодарил его, брал саквояж и отправлялся на работу. Там он внезапно обнаруживал, что в саквояже не деньги, а бумага: вместо его саквояжа ему подсунули другой, точно такой же...

Несколько дней я занимался одной из таких краж. Сегодня мне предстояло допросить двадцать три человека.

Со словом «допрос» у непосвященных обычно связано представление о психологической дуэли между следователем и преступником. У одной моей знакомой девушки, за которой я ухаживал в двадцатом году только потому, что она была похожа на Нюсю, при этом слове уважительно округлялись глаза. Но допрос допросу рознь, а кроме того, каждый, даже самый интересный допрос связан с весьма неприятной вещью – оформлением. Следователь должен аккуратно записывать каждое слово допрашиваемого, следить за каллиграфией, чтобы написанное им легко можно было прочесть, зачеркнув фразу, он должен оговорить это в конце страницы, и так далее и тому подобное. Для допроса очевидцев не нужно было особого умственного напряжения, но записать все эти показания, отсеяв то, что не имело абсолютно никакого отношения к делу, требовало немалых трудов.

Когда я заканчивал допрос последнего свидетеля, служащего банка, ко мне зашли Виктор и Арцыгов.

– Ночевать здесь собрался? – спросил Виктор, кивнув на висевшие на стене часы. – Уже одиннадцать.

Арцыгов сел к столу и начал лениво перелистывать протоколы. Ему-то писать не приходилось, Мартынов начисто избавил его от писанины.

В последнее время неприязнь Сухорукова к Арцыгову сгладилась, хотя на смену ей и не пришло дружелюбие. Просто Виктор стал как-то более терпеливым. Соответственно изменилось к Арцыгову и мое отношение. Теперь после работы мы иногда играли в шахматы. В шахматы Арцыгов играл так же азартно, как и в карты: очертя голову кидался в авантюры, затевал рискованные комбинации. И в жизни, и в игре он был любителем острых ощущений. Виктор же играл спокойно, осторожно, иногда подолгу задумываясь над тем или иным ходом.

– Корову, что ли, проигрываешь? – торопил его горячий Арцыгов.

Особенно возмущал Арцыгова отказ Виктора играть на деньги.

– Не могу я без интереса. Потому проигрываю, – злился Арцыгов, скаля белоснежные зубы. – Что за игра без интереса, а? Давай с интересом! Почем у тебя кровь рыба?

Виктор посмеивался:

– Сначала играть научись, а потом уже об интересе думай. Закончив с протоколом допроса, я с облегчением потянулся.

– Вот, до одиннадцати пропотел, а Мартынов говорит: плохо работаем. Чего его Кошельков задел? Ведь Кошельковым МЧК занимается.

– Заниматься занимается, а толку? – прищурил глаза Арцыгов над шахматной доской. – На Брестской кроме Короваева и Ведерникова трех самокатчиков порешил. Хотели рыбку половить, а сами на крючок угораздили. Смелый черт, горячий! Его голыми руками не возьмешь. Раз десять из тюрьмы бежал. И отец его по мокрому делу ходил, до революции казнили...

– Ничего, придет время – возьмем, – сказал Виктор, передвигая ладью.

– Возьмешь, говоришь? Многие пытались, да толь ко крылышки себе жгли. Уж не ты ли брать собираешься?

– А хотя бы я...

– Храбрый мальчик, храбрый.

Арцыгов партию проиграл. Предложил сыграть еще, но Виктор отказался: завтра рано вставать. Надо выспаться. Прощаясь с нами, он сказал:

– А Кошельковым я займусь по-настоящему.

– Гляди, чтоб он тобой только не занялся, – усмехнулся Арцыгов. – Не хочу, чтобы тебя кокнули, пока я тебя в шахматы не обставил.

– Ну, тогда мне лет до семидесяти жить...

Когда я предложил привлечь к какой-то операции Сухо-рукова, Мартынов сказал, что он выполняет специальное задание и отвлекать его по мелочам не нужно. Что это было за специальное задание, я не знал, но догадывался: видимо, Виктор занимался бандой Кошелькова. Между тем фамилия Кошелькова все чаще мелькала в оперативных сводках: налеты, ограбления, убийства. Кошельков и его неразлучный дружок Сережка Барин для своих преступлений широко использовали отобранные у убитых чекистов документы. Именно с помощью этих документов банда ограбила аффицерный завод, забрав золото в слитках, платиновую проволоку и деньги. Тогда Кошелькова чуть было не задержали матросы из отряда ВЧК, но он, отстреливаясь, ушел. Самым сложным было нащупать, где же скрывается Кошельков, с кем он поддерживает связи, через кого сбывает награбленное, то есть найти ниточку, которая привела бы к удачливому и дерзкому главарю банды.

В уголовном розыске Виктор не появлялся. Тузик говорил, что видел его как-то на Хитровке.

Впервые с Виктором мы увиделись после совещания, которое проводил Мартынов, только шестого июля, в тот самый день, когда неожиданно вспыхнул мятеж левых эсеров. Эту новость принес запыхавшийся Сеня Булаев, который,



ничего не подозревая, отправился на Поварскую арестовывать валютчиков.

– Братцы! – закричал он, вбегая в дежурку. – Германский посол Мирбах убит! Сейчас у театра оперного был, там всю фракцию левых эсеров заарестовали вместе с Марией Спиридоновой. Из окон головы повывисывали и орут: «Большевики узурпаторы!»

– Да подожди, кто посла-то убил?

– Левые эсеры и убили.

– Зачем?

Сеня пожал плечами:

– А я откуда знаю? Что я тебе, эсер, что ли? У них и спрашивай.

Вошел, как всегда спокойный и сдержанный, Медведев.

– Тихо, товарищи. Отряд Попова при ВЧК отказался подчиняться Советской власти. Начальник отряда скрывает убийцу посла Мирбаха, которого эсеры убили с целью спровоцировать войну с Германией. Попов арестовал Дзержинского, Лациса и Смидовича. Мятужники сосредоточились в Трехсвятительском переулке, штаб Попова – в особняке Морозова. Сейчас я связался с районным Совдепом. Нам поручено патрулировать в районе Сретенских ворот.

Еще с Трубной мы слышали ружейные выстрелы, которые заглушались сильными громовыми ударами.

– По Кремлю кроют артиллерией, – сказал Груздь. – Революционеры, мать их за ногу!

– А отряд Попова наполовину из матросни, – вставил Арцыгов, который никогда не упускал случая подковырнуть Груздя.

– Какие ж это матросы? Салаги из Черноморья, – презрительно ответил Груздь. – Одни клеши для видимости.

У Сретенских ворот к нам присоединилась вооруженная группа делегатов съезда.

– А вот Сухоруков! – сказал Груздь.

Действительно, Виктор бежал по Сретенке, махая рукой.

– Хорошо, что встретил вас. К Покровке идете?

– Нет, пока не приказано, – сказал Груздь. – Но без нас все одно не обойдется...

Однако без нас обошлось. Всю ночь мы находились в районе Сретенских ворот, прислушивались к одиночным выстрелам. К утру выстрелы участились. Это против мятежников были двинуты войска, расположенные на Красной, Страстной и Арбатской площадях. К двум часам мятеж уже был ликвидирован.

– Зря всю ночь вместо телеграфных столбов простояли, – смеялся Арцыгов. – Пострелять и то не пришлось...

– Еще постреляешь, – пообещал Мартынов. – Чего-чего, а стрельбы на наш с тобой век хватит. Вот только как бы германцы войну из-за своего посла не затеяли. Им только повод дай. И чего с этими эсерами нянчились?

Мы с Виктором немного отстали. Он шел в расстегнутой косоворотке, обнажавшей его мускулистую шею, прикусив

зубами сорванную веточку тополя, подтянутый, веселый.

– Ну, что нового в розыске?

– Что нового? Все то же. Расскажи, как у тебя. За Кошельковым охотился?

– Ишь какой умный! – поразился Виктор. – Догадался-таки?

– Да уж весь свой хилый умишко напруг.

– Ну-ну, не обижайся. Чего ты таким обидчивым стал? Понимаешь, какое дело, успехи не ахти, но кое-что нащупал. Помнишь, я тогда после операции на Хитровке возражал против ареста Севостьяновой? Еще говорил, что она нам пригодится? Ну вот, Аннушка и пригодилась. Оказывается, Кошельков у нее бывает. Как часто, не знаю, но бывает.

– И это все, что ты узнал?

– А что, мало? – засмеялся Виктор.

– Не много.

– Еще кое-что добыл. Вот, смотри. – Виктор показал мне клочок бумаги: «Смотался в Вязьму, буду в Хиве в следующем месяце. Сообщи Ольге». Подписи под запиской не было. – Эта писулька на столе у Севостьяновой лежала.

– А почему ты решил, что Кошельков писал?

– Проверял. Савельев говорит: почерк Кошелькова. Федор Алексеевич не ошибется.

– А кто такая Ольга?

– Как кто? – поразился Виктор. – Невеста Кошелькова. Ты разве не знаешь?

– А почему я должен близких и дальних родственников всех бандитов знать?

– Потому что ты работаешь в уголовном розыске, – нравоучительно ответил Виктор.

Когда он так говорил, я всегда злился. Но любопытство было на этот раз сильнее, чем самолюбие. И хотя мне хотелось сказать Виктору, что ему еще рано брать на себя роль наставника и я прекрасно знаю без него, что я должен, а чего не должен, я промолчал.

– Понимаешь, – продолжал Виктор, – я советовался с Савельевым. Видимо, действовать надо будет в нескольких направлениях; но прежде всего установить постоянные наблюдения за притоном Севостьяновой и за ней самой. Кстати, тебе твой старый приятель привет передавал...

– Кто?

– Баташов.

– Жив еще?

– Жив. Отощал только, пришлось подкормить.

– Свой паек отдал?

– Свой паек... Ну, дело не в этом. Думаю, надо мне в Вязьму вместе с Савельевым поехать. Можно его там застукать...

– Нос Арцыгову здорово утрешь.

– При чем тут Арцыгов? Что я, для Арцыгова стараюсь? Дурак ты, Сашка!

– Уж какой есть.

Но Виктор не обратил внимания на мою реплику.

– Тебя послушать, так мы работаем или для Арцыгова, или для Медведева, или еще для кого-то. Мы для Советской власти работаем и перед ней отвечаем.

– Ну прямо, как на занятиях по политграмоте. Почтище товарища Ч все выкладываешь!

У Виктора зло сузились глаза, но вдруг он расхохотался.

– Пацан, честное слово, пацан!

Он обернулся ко мне, засучил рукава косоворотки.

– Ну как, может, попробуем еще разок?

Я испугался.

– Иди к черту! Мартынов увидит – обратно в гимназию отправит, скажет: дети не нужны. Пусти, ну что ты!

Но я уже барахтался на траве бульвара. Сухоруков сидел на мне верхом, крепко держа мои руки.

– Священной формулы не забыл?

– Витя, – взмолился я, – неудобно, увидят...

– Пусть смотрят! Пусть видят! – весело орал Сухоруков.

Когда мы встали и начали отряхиваться, я заметил, что с соседней скамейки на нас внимательно смотрят двое мальчишек с ранцами за плечами.

– Вы гимназисты? – спросил один из них с интересом.

– Точно, – подтвердил Виктор.

– А маузер вам в гимназии выдали?

– Разумеется, совет гимназии, чтобы учителей пугать...

Двойку поставят – сразу оружие достаешь: смерть или пятерка. Очень здорово помогает. Теперь только круглые пя-

терки имеем.

– Врете... – неуверенно сказал мальчишка.

– Врут, – поддержал другой, – никакие они не гимназисты. – Он скорчил рожицу, шикарно сплюнул через выбитый передний зуб и солидно сказал: – Пошли, Петька! Им-то что, а нам еще к переэкзаменовке готовиться.

– Эй, орлы! – окликнул Виктор. – Закурить не найдется?

– Это можно, – сказал мальчишка с выбитым зубом. Он солидно, не торопясь, достал из кармана кисет, отсыпал на протянутый кусочек газеты махорки и спросил, кивнув на маузер, который явно не давал ему покоя: – Двенадцатизарядный?

– Пятьдесят пуль, и все отравленные индейским ядом, – доверительно сообщил Виктор. – У меня тут один знакомый вождь краснокожих на Лубянке сапожничает, в Россию за петушиными перьями приехал, говорит, в Америке с перьями худо стало: по приказу президента всех кур и петухов перерезали, так он ядом расстарался, на Сухаревке торгует...

– Вот трепач! – с восхищением сказал мальчишка и приснул в кулак. – Ну и трепач!

– Факт, – скромно сказал Виктор, раскуривая самокрутку. – Ну, адью, коллеги! Советую только курево в кармане не держать, конфликт с мамашей назреть может.

Сухоруков хотел ехать в Вязьму, но Мартынов почему-то заупрямился.

– Мефодий Николаевич! Ведь мне это сподручней, – убеждал его Виктор. – Я Кошельковым и Сережкой Бариним еще когда занимался!

– Нет, не поедешь.

– Почему? Все-таки я раскопал эту штуку.

– Все одно не поедешь. Везде хочешь успеть – нигде не успеешь. Организуй лучше все, как положено, на Хитровке. Нащупаем или нет Кошелькова в Вязьме – бабушка надвое сказала. А на Хитровке – дело верное.

Мартынов командировал в Вязьму Савельева и Горева, к которым затем присоединился Арцыгов.

Против включения в оперативную группу Арцыгова Савельев возражал.

– Горяч больно, – доказывал он Мартынову, – на такое люди потоньше да поспокойней нужны. Дельце-то деликатное. И с Петром Петровичем он не в ладах. Только мешать друг другу будут.

Может, Мартынов и согласился бы с Савельевым, если бы не упоминание о Горева, которого он терпел только в силу необходимости.

– А я их целоваться не прошу, – резко ответил он. – Им

вместе не детей крестить, а работать.

– Все-таки, – начал было Савельев, но Борода его перебил:

– Приказ читали?

– Какой?

– О моем смещении с должности начальника особой группы. Нет такого приказа? Значит, и разговор будем кончать. Поедут те, кого я пошлю.

Около двух недель никаких сообщений от оперативной группы мы не получали. Мартынов несколько раз пытался связаться с Вязмой по телефону, но безрезультатно. Наконец в розыск поступила телеграмма: «Бандит Кузнецов, по прозвищу Кошельков, арестован. Будет днями конвоирован Москву Вяземской ЧК. Точка. При задержании преступника Савельев ранен. Точка. Находится излечении больнице. Точка. Горев. Точка».

Мартынов огласил телеграмму на оперативке. Казалось, с Кошельковым покончено, но радость была преждевременной... Позднее я узнал все подробности вяземской истории.

Оперативная группа, прибыв в Вязму, первое время никак не могла напасть на след Кошелькова. Бандит словно сквозь землю провалился. Горев даже высказывал предположение, что Кошельков в Москве, а его записка предназначалась только для отвода глаз. Наконец Савельеву удалось восстановить старые агентурные связи, и он узнал, что Кошельков действительно в Вязме. Через некоторое время выяснилось даже, с кем он встречался. Это была бывшая «хитров-



ская принцесса» Натка Сибирячка, старая знакомая Савельева, которая покинула Хитровку в 1915 году. По сведениям, полученным Савельевым, Кошельков должен был быть у Натки вечером в субботу. К его встрече подготовились, но он не пришел. Не появился он и на следующий день, и в понедельник. Создалось впечатление, что бандит или почувствовал что-то неладное, или уехал из Вязьмы. Решено было арестовать Натку. Но это ничего не дало.

– Только и знаете, что людей понапрасну тревожить! Вам бы только и сажать безвинных! – кричала Натка истощенным голосом, когда ее вели по улицам. – До революции душу выматывали, теперь мотаете! Бога на вас нет, легаши проклятые!

На допросе Натка все начисто отрицала. Кошелькова она, дескать, действительно знает, но никаких отношений с ним не поддерживала и не поддерживает. И чего ей только жить не дают спокойно! Кому она мешает? Что от нее, несчастной, хотят? Она такого беззакония не потерпит и будет писать жалобу самому Дзержинскому.

Пришлось Натку выпустить. А на следующий день был убит купец Бондарев и его приживалка Кислюкова. В квартире ничего тронуту не было. Только на кухне, под мусорным ведром, сорвано две половицы, под которыми зиял провал, там находился тайник, до него-то и добирались убийцы.

– Работа Кошелькова, его почерк, – заключил Савельев, тотчас приехавший на место происшествия. – Для того и

Вязьму навестил, и наводчицей была Натка.

Действительно, дальнейшее расследование показало, что Натка часто бывала у Кислюковой, засиживалась допоздна, гадала ей на картах. При вторичном обыске у нее обнаружили несколько золотых вещиц, которые опознала дальняя родственница Бондарева, жившая во дворе во флигеле. Она же описала мужчину, который на рассвете выходил из дома Бондарева с узелком в руках. Приметы неизвестного полностью совпадали с приметами Кошелькова.

Под тяжестью улик Натка во всем призналась. Узнав от Кислюковой, что старик хранит золото, она хотела «дать это дело» своему дружку Беспалову, но того как раз арестовали. Тогда она послала «ксиву» Кошелькову, который вскоре и приехал в Вязьму. Разрабатывая план ограбления, Кошельков бывал у нее ежедневно. Но потом он сказал, что за ним из Москвы прихрюли легавые: «Думают взять у тебя, только меня один корешок упредил. Не дамся». После этого разговора Кошелькова она больше не видела, а золотые вещи, долю в деле, ей передал барыга по кличке Шелудивый.

К тому времени Горев установил круглосуточное наблюдение за вокзалом. Сделано это было просто на всякий случай, потому что каждому было ясно, что Кошельков туда не сунется, по крайней мере в ближайшие дни.

И вдруг совершенно неожиданно Савельев наткнулся на бандита в трактире Кухмистрова, который был расположен на центральной улице города. Кошельков спокойно сидел за

столиком и о чем-то разговаривал с опилочником Ахмедом.

Увидев Савельева, он дважды выстрелил.

Одна пуля оцарапала Савельеву плечо, вторая застряла в левом легком. Савельев упал, а Кошельков, выбив плечом оконную раму, выскочил на улицу. Он бы наверняка ушел, если бы не наткнулся на группу красноармейцев, которые как раз проходили мимо трактира и обратили внимание на выстрелы. На него навалились, обезоружили, скрутили руки и доставили в ЧК.

Через два дня Кошелькова в сопровождении Арцыгова (Горев остался возле раненого) и конвоя Вяземской ЧК отправили в Москву. Два молоденьких красноармейца, опасаясь побега, не спускали с него глаз. Но Кошельков вел себя настолько спокойно, что решили даже развязать ему руки. В Москву прибыли без всяких происшествий. На перроне к Арцыгову подошла молодая женщина, закутанная в серый платок, и попросила разрешения передать заключенному буханку хлеба: «В тюрьме-то небось несладко!»

– Ну что ж, давай, коли такая сердобольная, – согласился Арцыгов. – Дорога в рай длинная, на сытый желудок сподручней добираться.

Но Кошельков в рай не собирался...

В переданной буханке находился браунинг.

Один из красноармейцев был убит наповал, а другой умер не приходя в сознание. Арцыгова Кошельков сбил с ног ударом в подбородок.

Так закончилась вяземская операция, за которую Арцыгов две недели находился под арестом, а Мартынов получил выговор в приказе.

Арцыгов, отсидев положенное, ходил мрачнее тучи. Он и раньше не отличался осторожностью и зачастую во время операций шел на ненужный риск, а теперь с ним просто творилось что-то невообразимое.

При разоружении шайки фальшивомонетчиков в Марьиной Роще его спасла чистая случайность. Ребята под тем или иным предлогом старались избежать участия в тех операциях, которыми он руководил: и себя и других угро бит. Дело дошло до того, что Мартынов как-то однажды ему сказал:

– Ты эти штуки брось, Аника-воин. Это не храбрость, а дурость. Железного креста не заработаешь, а деревянный за просто. Официально предупреждаю: не прекратишь своих фокусов – с работы к чертовой матери выгоню.

Арцыгов огрызнулся, но это предупреждение на него, кажется, подействовало.

Мне его было жаль, хотя я и не питал к нему особых симпатий.

В конце концов, от подобных случайностей никто не гарантирован. Такое могло случиться и с Виктором, и с Се ней Булаевым, и с Горевым.

Виктор опять пропадал на Хитровке, и теперь мы с Арцыговым часто играли в шахматы.

– Да плюнь ты на эту историю! – сказал я ему в один из

таких вечеров.

Арцыгов поднял глаза от шахматной доски, посмотрел на меня, словно увидел впервые, прищурился.

– Жалеешь?

– Чего мне тебя жалеть...

Арцыгов зло усмехнулся.

– Жалеешь, – утвердительно сказал он. – Все вы жалостливые: и ты, и Сухоруков, и эта гнида Горев. А во мне так жалости не осталось, всю жалость жизнь каленым железом выжгла. Начисто. Видал? – Он показал два искривленных пальца на левой руке. – Память об исправительном рукавишниковском приюте. Пацаном был, когда меня там исправляли. Исправили. Ленька только мне малость пальцы изувечил. Шустрый паренек, веселый... Все забавлялся с нами, с мелкотой... Жратву отбирал. Сам шамал, а у нас отбирал, смеялся: хочешь шамать – давай сыграем. Очень веселую игру выдумал. Насыпет кашу горкой на полу. Мы – в круг, а он посредине, с палкой. «Кто ловкий? – кричит. – Кто жрать хочет? Налетай!» Боязно, а в брюхе бурчит с голодухи. Протянешь руку, а он по пальцам палкой. Когда горсть каши ухватишь, а когда благим матом взревешь. Только я ловкий был, не мог Ленька меня палкой достать. Очень обидно ему было: кашу я сожру, а удовольствия ему никакого. Вот разок и сжульничал, свои же правила нарушил: вместо палки каблук-ком мне на пальцы наступил...

Лежал я тогда ночью в постельке под казенным одеялом

и все Ленке казнь придумывал пострашней... Мечтал я большим человеком стать: купцом или губернатором, что бы много денег иметь и все что ни на есть продовольствие в Российской империи скупить. Пришел бы ко мне тогда Ленка, а я ему – кукиш. Хочешь жрать – клади на стол руку. За каждый кусок по пальцу. Плачет он слезами горячими, а я сижу себе в кресле сафьяновом, да золотой цепочкой играю, да на часы золотые с репетиром гляжу, а кругом золото так и сверкает. – Арцыгов коротко хохотнул. Губы его подергивались. – Глупым пацаном, без соображения был. Малолеток, одним словом. А Ленку долго помнил...

Арцыгов замолчал, задумался. Молчал и я. Что я мог сказать этому человеку, жизнь которого совершенно не была похожа на мою?

– Вот так, гимназист. Нет во мне жалости. Я вроде полубубка, от крови и слез задубевшего. Меня не жалели, и я жалеть не научился. Ну как, сыграем?

– Что-то не хочется.

– Как знаешь, – равнодушно сказал Арцыгов, сгребая шахматные фигуры. Он как-то погас, обмяк. – Как знаешь. А Кошельков, что ж, мы еще с ним встретимся.

Но с Кошельковым в первую очередь пришлось встретиться мне.

Очередное занятие по политграмоте не состоялось. Вечер был свободен, и я отправился домой. Груздь дежурил по розыску, а Виктор был на Хитровке, поэтому гостей я не ждал. Но гость все-таки появился – это был Тузик.

– Здорово, Сашка! – крикнул он, влетая в комнату. – А где Груздь?

– Дежурит.

– А-а.

На лице Тузика мелькнуло разочарование, и меня это кольнуло: я ревновал его к Груздю. Ревновал сильно, как потом никогда не ревновал ни одну девушку.

– Ничего, проживешь один вечер и без Груздя. Книжку прочел?

– Прочел.

Тузик положил на стол томик Андерсена. Щедро растапливая отцовской библиотекой буржуйку, я все-таки почему-то пощадил книги детства. На нижней полке шкафа, как солдаты в строю, по-прежнему стояли зачитанные томики братьев Гримм и Андерсена, Фенимора Купера и Майна Рида. Ими-то я и снабжал Тузика, продолжая просветительную деятельность Груздя.

– Понравилась?

– Не особенно, – зевнул Тузик. – Если рассуждать диа-

лектически, то ерунда на постном масле... Чего лыбишься? Точно тебе говорю: ерунда. Опять же, вот эта «Принцесса на горошине». Будь она трижды принцесса – все равно бы дрыхла без задних ног. Меня не обштопаешь. Я-то знаю!

– Есть хочешь?

– Вот это арифметический плюс, – оживился Тузик.

«Арифметический плюс и арифметический минус», Тузик пересыпал свою речь излюбленными выражениями ми Груздя. Это меня раздражало, но я даже не показывал вида.

Я достал из шкафа аккуратно завернутые в холстину полбуханки настоящего ржаного хлеба и кусок сала. Все это богатство я выменял на Сухаревке на старый отцовский костюм. Тузик жадно набросился на еду, и мои трехдневные запасы были мгновенно уничтожены.

– Мировецкое сало, – сказал Тузик, облизывая пальцы. – Буржуйская шамовка. Здорово живешь!

– Вот и переходил бы ко мне. Чего на Хитровке болтаться?

– Не, нельзя.

– Почему?

– Убьют...

В его голосе была такая убежденность, что я вздрогнул. И тогда я впервые задумался: что я в конце концов знал о жизни этого мальчишки? Только то, что он сирота, живет на Хитровке у Севостьяновой, которая приютила его то ли из жалости, то ли из каких-то своих соображений, что... Нет, пожалуй, я больше ничего не знал. А знать нужно было, хотя



бы для того, чтобы помочь ему выбраться с Хитровки, расстаться с уголовным миром. «Надо будет с Груздем и Виктором посоветоваться», — подумал я и спросил:

— Кто же тебя убьет?

— Паханы убьют.

— Какие паханы?

— Всякие, — неопределенно ответил Тузик. — Анна Кузьминична и так говорит, что я проданся.

— Чудак, ты же с нами все время будешь. Они и подойти к тебе побоятся!

Тузик упрямо мотал головой. Я так и не смог больше ничего от него добиться.

Часов в девять вечера мы начали укладываться спать. Собственно говоря, было не девять, а семь, но с начала лета действовало новое постановление Совета Народных Комиссаров. В целях экономии осветительных материалов предлагалось перевести часовую стрелку на летнее время по всей России на два часа вперед. Путаницы после его издания было вначале много, но потом ничего, привыкли.

Уснул я сразу. Проснулся от того, что Тузик тряс меня за плечо.

— Саша! Саша!

— Что такое?

— Не слышишь, что ли? В дверь-то как стучат...

Я присел на кровати. Кто-то из всех сил грохотал, видимо, ногами в парадную дверь. В передней шептались доктор

и его супруга.

– Что происходит? – крикнул я.

– Л-ломится кто-то, – заикаясь, ответил доктор.

– Кто?

– Понятия не имею.

– Почему же вы не спросите?

Я натянул брюки и пошел к дверям.

– Кто там?

– Из ЧК, открывайте!

По голосу я узнал председателя домового комитета инженера Глущенко. Путаясь в многочисленных запорах, замках и цепочках, я начал отпираться.

– Живей, живей! – подгоняли меня из-за двери.

В переднюю вошли трое: Глущенко, в очках и форменной шинели внакидку, перепоясанный ремнями бритый мужчина в кожанке и высокий, сутулый человек с очень густыми бровями.

– Кто такой? – резко спросил парень в куртке, кивнув в мою сторону.

Тон парня мне не понравился.

– А вы сами кто такой?

– Гражданин Белецкий у нас в уголовном розыске работает, – сказал доктор, дыша мне в затылок. – А вот ваши документики?!

Никогда не думал, что у него может быть такой ласковый и противный голос. Я обернулся и крикнул:

– Вас никто не спрашивает, гражданин Тушнов. Проходите, товарищи.

– Идем! – весело откликнулся бритоголовый и взял меня за плечо. – Понятым будешь.

Начался обыск.

Ночной визит меня не удивил. После того как Москва была объявлена на военном положении, обыски стали обычным делом. МЧК искала бывших офицеров, скрывающихся от регистрации, оружие, припрятанные спекулянтами запасы продовольствия, валюту.

Многие, у кого нечиста была совесть, вскакивали по ночам и чутко вслушивались в ночные шорохи: не подошел ли кто к дверям? не стучат ли?

Доктор Тушнов и его супруга не относились к людям, вызывающим симпатию. Тогда мы делили всех на пять точно разграниченных категорий: свои, сочувствующие, обыватели, враги, сочувствующие врагам.

Доктора я сразу же и безоговорочно отнес к последним. Встрепанный, суетливый, в засаленном халате, из-под которого болтались завязки кальсон, Тушнов, встречая меня на кухне или в коридоре, неизменно спрашивал: «Слыхали новость? Нет? Опять «товарищи» отличились!» – и, захлебываясь от истерического восторга, рассказывал очередную антисоветскую побасенку.

Каждый слух о кулацких выступлениях или успехах белых доставлял доктору какое-то болезненное удовольствие.

В больнице он проводил не больше трех-четырёх часов в день, а остальное время бессмысленно бродил по квартире или чистил на кухне кастрюли, мясорубки, салатницы, серебряные бокалы и прочий инвентарь, которым давно никто не пользовался.

Мадам же Тушнова целыми днями лежала на тахте с романом Дюма в руках или что-то на что-то обменивала на Сухаревке, которая стала центром притяжения всех спекулянтов города.

Но, несмотря на мою неприязнь к соседям, мне все-таки очень неприятно было присутствовать при обыске. В самом слове «обыск» было что-то постыдное, в равной степени унижающее обыскиваемых и тех, кто обыскивал. За годы службы мне приходилось принимать участие в десятках, а может быть, и в сотнях обысков. Но всегда я испытывал все то же чувство неловкости.

Во время обыска доктор, сгорбившись, сидел на стуле и молчал, а его супруга беспрестанно всхлипывала и, театрально всплескивая пухлыми руками, спрашивала, ни к кому в отдельности не обращаясь: «Что же это такое, а? Что же это такое, а?»

Она вызывала жалость и какое-то гадливое чувство.

После обыска, который длился около часа, чекисты составили опись изъятых ценностей, а их, к моему удивлению, оказалось немало, и старший, обращаясь к Тушнову, сказал: – Вы, доктор, особо не волнуйтесь. Думаю, все это по

недоразумению и вам золотишко возвратят. Так что зайдите ко мне послезавтра в МЧК. К тому времени выяснится.

Доктор встрепнулся.

– Спасибо, товарищ дорогой, спасибо. А не скажете номер вашего кабинета?

– Тридцать седьмой.

– Весьма благодарен, весьма, – забормотал доктор, запахивая халат.

Председатель домкома подписал протокол обыска и, зябко ежась, спросил у Тушнова:

– У вас, случайно, нет аспирина, Борис Семенович?

– Откуда же ему быть, милейший? – сказал доктор и даже протянул для чего-то руку ладонью вперед, как нищий на паперти. – Откуда?

Я знал, что Тушнов врет, что еще вчера он откуда-то принес несколько пакетов аспирина, который мадам Тушнова будет обменивать на Сухаревке, но уличать его во лжи не хотелось: в этой ситуации Глущенко обращаться с просьбой к доктору не следовало. Он, видимо, и сам это понял: извинился за беспокойство и ушел домой.

Чекисты прошли ко мне в комнату.

– Еще в одну квартиру надо успеть, – сказал бритый. – Ну, покурим перед дорогой, что ли? Э-э! Зажигалку забыл! – похлопал он себя по карману. – Дурная голова!

Я достал из ящика письменного стола зажигалку-пистолет. Виктор сделал мне точную копию своей.

– Хороша вещь! – тоном знатока сказал бровастый. – Сам сделал?

– Приятель.

– Ювелир?

– Нет. Наш сотрудник. Сухоруков.

– Виктор, что ли?

– Да. А вы его знаете?

– Как же. Только не знал, что он мастер на такие штуки. Надо будет, Сережа, попросить, чтобы он нам тоже этикие сделал. На Хитровке он еще долго собирается сидеть?

– Не знаю.

– Зря только время тратит. Кошелев не дурак, к Аннушке не пойдет теперь...

Оказывается, чекисты были в курсе всех наших дел. Меня это расположило к бровастому, и я неожиданно для себя предложил:

– Зажигалку возьмите, мне Виктор другую сделает.

– Спасибо, – сразу же согласился бровастый. – Только баш на баш: ты мне зажигалку презентуешь, а я тебе перстенок.

– Что вы!

– Нет, нет, не отказывайся, обидишь, – и, сразу же переменяв тему, спросил: – Как Савельев, помер?

– Нет, жив. Врачи говорят, поправится.

Бровастый засмеялся.

– Живучий мужик! Собаку в своем деле съел, а здесь все-таки промашку дал. Упустил Кошелева, а?

– Не он упустил, Арцыгов.

– Вот как? Ну теперь долго искать будете...

– Ничего, отыщем и возьмем.

– Вот это молодец, – засмеялся бровастый. – С такими ребятами Медведев не то что Кошелькова, а Сашку Семинариста с того света возьмет!

Поговорив еще о Кошелькове, чекисты распрощались и ушли. И тут только я вспомнил о Тузике. Во время обыска я его не видел. Ушел, что ли? У Тузика была привычка уходить не попрощавшись, неожиданно. Но было уже слишком поздно. Куда его понесло?

За книжным шкафом что-то зашевелилось, и показалась взлохмаченная голова Тузика.

– Ушли?

– Да. А ты чего там делаешь?

Тузик молчал. Лицо его было бледным.

– Испугался? – допытывался я. – Это же чекисты были, к Тушновым с обыском приходили.

Тузик вылез из-за шкафа, поежился и, все еще дрожа, сказал:

– Это Кошельков был... и Сережка Барин...

Серебряный перстень упал и покатился по полу.

Бежать, немедленно бежать следом! Но куда? Почему я не спросил документы? Из неприязни к доктору. А каждый человек, который мог причинить зло моему соседу, вызывал во мне симпатию.

Вспоминая сейчас об этом случае, я думаю, что, пожалуй, самым трудным для меня было научиться отделять работу от симпатий и антипатий.

Уже много лет спустя я чуть не упустил матерого бандита из-за того, что женщина, сообщившая о его местопребывании, вызвала во мне чувство острой неприязни. И, наоборот, был случай, когда, безоговорочно поверив молодому, обаятельному парню, заинтересованному в том, чтобы направить моих работников по ложному следу, я арестовал невинного человека, и только суд вернул ему доброе имя.

Конечно, с годами становишься опытнее. Учишься ловить фальшивые нотки в показаниях, чувствовать искренность и неискренность тона. Но старая поговорка «тон создает музыку» к нашей работе неприменима. Музыку в розыске создают только факты.



Вспоминая сейчас о своем знакомстве с Кошельковым, я улыбаюсь, но в те дни мне было не до смеха.

Тушнов не давал мне покоя.

– Извините, Александр Семенович, – говорил он, останавливая меня в коридоре, – но я был в МЧК и не нашел вашего приятеля. Если вас не затруднит, наведите, пожалуйста, справки. Мне сказали, что ордер на обыск моей квартиры вообще не выдавался... Неразбериха какая-то!

Что я ему мог ответить? Что то были не чекисты, а бандиты и я им помогал грабить?

Докладывая о происшедшем Мартынову, я ожидал всего: выговора, отчисления из уголовного розыска. Но Мефодий Николаевич выслушал меня молча.

– Что стоишь? – спросил он, когда я закончил свою исповедь.

– Но...

– Что «но»? Хвалить не за что, а ругать не к чему. От ругани дураки не умнеют. Это уж от бога.

Пожалуй, никто бы не смог больней ударить по моему самолюбию. Из кабинета Мартынова я выскочил в таком состоянии, как будто меня высекли на самой многолюдной улице. А ведь Мартынов наверняка расскажет обо всем Медведеву. Как я ему буду смотреть в глаза?

Я мечтал о новой встрече с Кошельковым и Сережкой Барином, строил фантастические планы того, как я их задержу и доставлю в уголовный розыск. А пока я с ужасом думал о предстоящей беседе с Александром Максимовичем. К счастью, последние дни его в розыске почти не было: он все время находился в МЧК. Но всему приходит конец...

После ранения Савельев в вяземской больнице пролежал недолго, недели через две его перевезли в Москву. Медведев, высоко ценивший старого, опытного работника, довольно часто навещал его, и однажды он взял с собой меня... «Вот оно, от судьбы не уйдешь».

При уголовном розыске в то время была только одна машина, старенький «даймлер». Сколько ему было лет, ни кто не знал. Сеня Булаев вполне серьезно утверждал, что наш старик был создан Богом вместе с Адамом и Евой. Именно на этой машине Адам круглосуточно катал Еву по раю. Но Еве надоела тряская езда, и яблоко она съела не из любопытства, а чтобы избавиться от «даймлера». Первая женщина по своей наивности рассчитывала, что Всевышний в наказание заберет автомобиль, но оставит их в раю. А он поступил как раз наоборот: отправил их вместе с автомобилем на землю, а на прощание сказал: «Зарабатывайте отныне хлеб свой в поте лица своего, а по земной поверхности передвигайтесь только на этой керосинке».

– Бог не дурак, он знал, что к чему, – обычно заключал Саня свое повествование.

Сенина трактовка происхождения нашего «даймлера» пользовалась успехом. И даже Медведев, интересуясь машиной, теперь говорил:

– Как адамовская керосинка? Скоро из ремонта выйдет?

С «даймлером» случались всегда самые необычайные происшествия: то внезапно отказывали тормоза, и машина на полном ходу врезалась в каменную трубу, то что-то нарушалось в системе управления, и «даймлер» начинал делать заячьи петли, то шофер, к своему ужасу, вдруг замечал, что одно из колес почему-то мчится впереди машины.

Если ко всему этому добавить, что бензин отсутствовал и машина работала на дрянном керосине, то легко можно понять, почему сотрудники предпочитали извозчиков.

Но в тот день все дежурные лихачи были в разъезде, а своей лошади уголовный розыск не имел еще с мая, когда перед праздниками наш ленивый, добродушный мерин Пашка по указанию Медведева был зарезан и пущен на колбасу. Эту колбасу как величайший деликатес наш управделами вручал каждому под расписку, а семейным выдавалась двойная порция... До сих пор об этой колбасе у меня остались самые приятные воспоминания. Мне кажется, что никогда такой вкусной колбасы я потом не ел.

Медведев сел рядом с шофером, бывшим солдатом автомобильной роты Васей Кусковым, единственным человеком, который отзывался о «даймлере» с нежностью, а я, сжимая в руках бутыл постного масла для раненого, устроился на зад-

нем сиденье. Рассказал Мартынов Медведеву о визите Кошелькова или нет? По лицу Александра Максимовича трудно было что-либо определить.

После нескольких неудачных попыток «даймлер» затрясся, зачихал, и мы, окутавшись густым облаком бледно-голубого дыма, стремительно сорвались с места. «Даймлер» проделывал чудеса акробатики: скакал на колдобинах, подпрыгивал, словно хотел оторваться от бренной земли. Опасаясь разбить бутылъ, я основательно ободрал себе локти и колени. Но, когда выехали на Тверскую, «даймлер» немного при-смирел.

Стояла золотая осень. На мостовой желтели опавшие листья. Но листьев еще много было и на деревьях. Кое-где белели одинокие каменные тумбы. Не так давно они были густо заклеены объявлениями биржи труда, обязательными постановлениями Комиссариата продовольствия, информацией о завозе продуктов в Москву, оповещениями Сибирского торгового дома Михайлова о холодильниках для сбережения меховых вещей от моли... А теперь на них ни одного клочка бумаги. С бумагой в республике плохо. Навстречу нам попалась группа хорошо одетых людей, которых конвоировали два красноармейца. Один из красноармейцев махнул нам рукой. Много таких групп встречал я в тот месяц в Москве. Заложники... То были первые дни красного террора.

Убийство Володарского, Урицкого, покушение на Владимира Ильича... Враги пытались обезглавить революцию, по-

топить ее в крови, запугать террором. Но просчитались...

Первого сентября «Известия» опубликовали обращение бойцов 1-го московского продовольственного отряда: «Создадим твердое кольцо для охраны наших представителей и подавления контрреволюционных восстаний. Требуем от Совета Народных Комиссаров решительных мер по отношению к контрреволюционерам».

По заводам и фабрикам прокатилась волна митингов. «Хватит нянчиться с контрреволюцией! – требовали ораторы. – Ответить на белый террор красным террором!»

Газеты жирным шрифтом печатали решения ВЦИК: «Предписывается всем Советам немедленно произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства и держать их в качестве заложников...»

У нас ВЧК арестовала Горева и заведующего питомником служебных собак Корпса, но через несколько дней по настоянию Медведева выпустила...

Мы подъехали к маленькому двухэтажному домику, верхний этаж которого снимала семья Савельева. «Даймлер» забренчал и остановился.

Встретила нас жена Савельева, Софья Михайловна, хлопотливая, многословная.

– Милости просим, милости просим, – приговаривала она, пропуская нас вперед. – Федор Алексеевич будут очень рады.

О своем супруге она всегда говорила в третьем лице, об-

ращаясь к нему только по имени-отчеству и на «вы».

Я передал ей бутылку с маслом, и она рассыпалась в благодарностях:

– Благослови вас Бог! Профессор сказал: жиры, жиры и жиры. А где их взять в наше время? И хлеба-то не хватает. Забыли вкус пшеничного. Сын спрашивает: а что такое пшеничный хлеб?

– Ничего не поделаешь. У всех так, – сказал Медведев.

– Я знаю, но легче от этого не становится. Вы не подумайте, я не жалею, – вдруг почему-то испугалась она. – Но понимаете, дети и вот Федор Алексеевич болеют...

– Что врачи говорят?

– Ну что говорят? Слабые они очень, им бы на пенсию...

– С пенсией подождет. На пенсию мы уже с ним на пару пойдем. Этак лет через тридцать...

– Вы все шутите, Александр Максимыч. Ишь вы какой богатырь, Илья Муромец, да и только, а Федор Алексеевич слабенький, болезненный, в чем лишь душа держится...

Пройдя через гостиную, увешанную многочисленными пожелтевшими фотографиями, среди которых почетное место занимал фотопортрет хозяина дома в полицейском мундире при погонах и орденах, мы вошли в маленькую комнатку. Мебели здесь почти не было: трельяж с мутными от времени зеркалами и кровать. На столике, придвинутом к кровати, – застекленные коробки с бабочками, склянки с лекарствами и исписанные листы бумаги – монография, над кото-

рой Савельев трудился несколько лет.

Воздух в комнате был тяжелый, спертый.

Савельев, подпираемый со всех сторон подушками и подушечками, полусидел в постели и что-то объяснял сыну, десятилетнему мальчику с такими же ласковыми, как у матери, глазами.

– Окно бы открыли, – сказал Медведев. – Дышать нечем.

– Да я ей говорил, – безнадежно махнул рукой Савельев. – Сквозняка боится.

Он похлопал сына по руке.

– Иди к мамаше, Николай.

Мальчик неохотно поднялся.

Савельев сипло вздохнул, закашлялся. В комнату неслышно проскользнула Софья Михайловна, наклонилась над ним.

– Федор Алексеевич, вы бы водички испили...

– Какая там вода!.. Вода, вода, – сказал он, отдышавшись. – Только и знает, что водой поит, а водки не дает. Горев у меня сейчас. Медицинский спирт раздобыл где-то. Дай, говорю, хоть на донышке. Не дает...

– А где Горев? – спросил Медведев.

– Во дворе Петр Петрович. Не забывает. Честный человек. Зря его ВЧК арестовала...

– Арестовали – выпустили. А одной честности в наше время мало. Честный... И Деникин честный, и Корнилов был честным.

– Охо-хо, – вздохнул Савельев, – кровавое время.

– Крови хватает, – согласился Медведев. – И ручейками, и речками течет...

В комнату заглянула Софья Михайловна.

– Фельдшер пришел перевязку делать...

Мы вышли в гостиную. Медведев держался со мной так, будто ему ничего не известно. А может, действительно Мартынов ему ничего не говорил? Ведь Мартынов не любит выносить сор из избы...



Мы уже около часа провели у Савельева, когда вошел Горев. Никогда не думал, что человек может так сильно измениться за короткий срок. Темные мешки под воспаленными глазами, подергивающиеся углы рта, неряшливые клочья давно не подстригавшейся бороды, грязный воротничок белой сорочки...

Может, его так сломил арест?

Держался Горев тоже не так, как раньше. Не было прежней надменности, он почти не иронизировал и вообще был какой-то усталый, затравленный. К разговору он не прислушивался и смотрел на собеседников отсутствующими глазами. Заговорил только один раз, вне связи с общей беседой:

– Моего старого друга на днях взяли. Сын его тоже офицер, в военном комиссариате. Спрашиваю: «Что собираешься предпринять?» – «Ничего, – отвечает. – Получил, к чему стремился».

Наступило неловкое молчание. Медведев, как мне показалось, с любопытством в упор смотрел на Горева.

– Возмущаетесь?

– Да-с.

– Может быть, и зря. Революция, ведь она родственных уз не признает. Порой превращает во врагов и отца с сыном, и дочь с матерью.

– Чтобы так поступать, надо слишком верить в свою правоту.

– Иначе и нельзя. Боец должен верить в то, за что сражается.

– А если он все-таки не верит?

Медведев приподнял свои массивные плечи.

– Какой же он к черту боец, если не верит? Такой превратится во врага или сбежит с поля боя. Сейчас идет война за Россию. Если с нами, то верить нам, если с ними, то верить им.

– Но ведь есть люди, которые не могут решить, к кому присоединиться.

– Есть. Но выбор им сделать придется. И не завтра, а сегодня. Кто этого не делает, окажется в положении зерна между двумя жерновами. Раздавят...

– Может, чаю попьем? – вмешался Савельев, которого тяготил этот разговор. – У Софьи Михайловны сохранилась пачка настоящего китайского...

Ни Медведев, ни Горев больше не вернулись к этой теме. За чаем говорили о здоровье Ленина, положении на фронте, потом, как обычно, разговор перекинулся на служебные дела.

– Спекулянты заели, – говорил Медведев. – Просто в блокаду Москву взяли.

Действительно, каждую неделю на Сухаревке проводились облавы, сопровождавшиеся истошными бабьими кри-

ками и визгом. Но рынок существовал по-прежнему, шумный, гомонящий, бесстыжий. У розовой Сухаревской башни вздымался к небу дым от тысяч самокруток, толкалась неугомонная разношерстная толпа – купеческие поддевки, картузы, мундиры со споротыми погонами, котелки, солдатские шинели, армяки, лапти.

По карточкам давали только четверть фунта серого, наполовину с опилками хлеба, а на Сухаревке легко можно было выменять белую как снег муку, толстые розовые ломти сала, свежее сливочное масло.

– Надо бы на Сухаревке специальную группу создать, – сказал Савельев, отхлебывая чай из блюдца. – Что облавы? Пропололи, а они, как бурьян, вновь лезут. Может, пока туда из особой группы людей перебросить?

– Нет, ослаблять борьбу с бандитизмом нельзя. На Малой Дмитровке опять вооруженный налет. Мартынов совсем извелся.

Савельев расстегнул на груди нижнюю рубашку, обнажив толстый слой бинтов.

– Кстати, как мой старый знакомый Кошельков поживает? Я обжегся чаем.

– Неплохо поживает, – прищурился Медведев, – за наше здоровье молится.

– Обидно, у меня ведь с ним личные счета...

– Не только у вас, Федор Алексеевич. Еще кое у кого... Мне показалось, что Медведев искоса посмотрел на меня.

Неужто знает?

На прощание Савельев предложил посмотреть коллекции бабочек. Это было соблазнительно, но Медведев отказался, поэтому отказался и я.

Провожала нас Софья Михайловна.

– А вы, Петр Петрович, не пойдете? – обернулся Медведев к Гореву.

– Как прикажете.

– Здесь приказываю не я, а Федор Алексеевич.

– Тогда я еще немного останусь.

– Что же, пожелаю вам всего доброго. А над моими словами подумайте. Только времени для раздумий маловато...

Автомашину окружили десяток замурзанных ребятишек. Кускова нигде поблизости не было.

– Где шофер?

– Там, видите, ноги торчат? – бойко ответила смуглая девочка с толстой косой.

Действительно, из-под машины виднелись ноги в обмотках.

– Опять мотор барахлит?

– Так точно! – жизнерадостно донеслось из-под машины.

– Починишь – прокати немного ребятишек. А мы пешком пойдем.

Медведев шел по улице крупным быстрым шагом, я еле поспевал за ним.

На город опускались сумерки. Ветер доносил лесной запах

прелых листьев.

– Грибов-то сейчас в лесу – страсть! – вздохнул Медведев, раздувая ноздри. – Самое время... – И неожиданно спросил: – Ну, что не поделишься своими впечатлениями от визита Кошелькова?

Меня обдало жаром.

– Александр Максимович, я все сделаю, чтобы искупить кровью свою вину!

Медведев усмехнулся:

– Зачем же кровью? Будем надеяться, что обойдется без крови.

– Да я...

– Ну, ну, хватит, – сказал он, положив мне руку на плечо. – Я тебе верю. Надеюсь, что не ошибся.

Когда мы подходили к Трубной, Медведев задумчиво сказал:

– Все думаю о Горева. Жаль его, в трех соснах заплутался...

Виктор критически меня осмотрел и сказал:

– Ничего, ничего.

В этот вечер мы с ним отправлялись на свидание. Собственно говоря, свидание Нюсе назначил Сеня Булаев, но его срочно вызвали по какому-то делу в МЧК, и он попросил нас сказать об этом Нюсе, с которой должен был встретиться на Дворцовой площади.

На улице было холодно, как часто бывает в первые дни зимы. Снег еще не появился, и все было черным: дома, заборы, деревья. Лишь на месте недавних луж поблескивали голубоватые проледи. Воздух морозный, пьянящий. Хотелось смеяться, дурачиться.

Когда мы подошли к площади, Нюси еще не было.

– Может, не придет?

– Чудак, – снисходительно сказал Виктор. – Когда ты видел, чтобы девушки приходили на свидание вовремя? Они рассуждают так: приходить вовремя – значит себя не уважать. Понял? Недаром в романах пишут: «Ноги его стыли, а сердце пламенело...»

Ноги у меня действительно стыли, и весьма основательно. Я начал выбивать чечетку.

– Давай, давай! – поощрял Виктор. – Что, как кляча, ногами перебираешь? Огонька не вижу, давай огонек!

– Ай да молодец!

Я обернулся: Нюся. Закутанная в платок, она казалась еще меньше ростом, чем обычно.

– Здравствуйте, ребята, а где Сеня?

Виктор лихо щелкнул каблуками:

– Семен Иванович изволили передать, что в связи с избытком дел не имеет возможности осчастливить вас своим появлением. – И добавил: – Сеньку вызвали...

– Ну вот, опять работа, – недовольно надула губы Нюся. – А мы с ним в синематограф собирались... Я еще у мамы отпрашивалась...

Не знаю, что Нюсю больше расстроило, отсутствие Сени или то, что она сегодня не попадет в синематограф, но в глазах ее была глубокая скорбь.

Видимо, Виктору ее стало жалко.

– Знаешь что, – сказал он, – а если мы сейчас втроем в «электричку» пойдем? Хочешь?

– А Сеня не обидится?

– Чего ему обижаться? – горячо, даже слишком горячо сказал я. – Ведь мы его друзья!

Мне этот аргумент тогда показался убедительным, более того, я, кажется, всерьез верил, что развлечь Нюсю наш дружеский долг. Вообще так получилось, что мы отправились в электротеатр только ради Сени. А когда билетов в кассе не оказалось, Виктор, уже как само собой разумеющееся, предложил посидеть немного в «Червонном валете», небольшом

литературном кафе. Таких кафе в 1918–1919 годах в Москве было много – «Бом», «Кафе футуристов», «Кафе имажинистов», «Сопатка» (кафе СОПО – Союза поэтов), «Стойло Пегаса». Каждое из них старалось щегольнуть своей эксцентричностью. В одном – оранжевые стены, украшенные непонятными изображениями, и выписанные аршинными буквами стихи Бурлюка: «Мне нравится беременный мужчина». В другом – полотнище со стихотворением Есенина: «Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган».

Здесь читали стихи, спорили, курили, пили желудевый кофе с сахарином, устраивали различные диспуты. Публика в «Червонном валете» была самая разнообразная: окололитературная молодежь, непризнанные «великие» художники, бывшие присяжные поверенные, артисты, участники различных литературных кружков, кокаинисты, искусствоведы, шулера, театральные критики, налетчики и зубные врачи.

Мы забились в дальний угол. Виктор и Нюся сели на диванчик, а я на стул.

За соседним столиком спорили об импрессионизме.

– Искусство благонамеренных, – недовольно говорил кто-то. – Дега, Сезанн, Мане, Ренуар – все это дешевые французские духи. Их назначение – заглушать ароматы разложения общества.

– Даже Редон? – ужасался юноша в пенсне.

– А что такое Редон? Ха, Редон! Пиявка на жирный затылок ваш Редон. Бездарность.



За другим столиком подслеповатый мужчина убеждал шепотом пышнотелую даму:

– Держитесь за доллары, единственная стоящая валюта. Только доллары, я вам желаю добра...

А чуть поодаль махал руками толстяк с багровым лицом:

– Нет и еще раз нет! Вы меня не убедите! Спиридонова – это символ революции, ее кровавое знамя!

Виктор подмигнул мне:

– И этот о крови разглагольствует. Из эсеров, что ли? Нюся была Сениной девушкой, поэтому мы с Виктором старались как можно больше говорить о Сене. Если бы Сеня здесь незримо присутствовал, он бы поразился несметному числу своих добродетелей, о которых мы сообщали, перебивая друг друга. Он бы узнал, что Булаев – самый смелый и честный человек в уголовном розыске, что его уму и находчивости завидует сам Савельев, что лучшего товарища трудно себе представить, а его неиссякаемая веселость вдохновляет нас на подвиги...

Что греха таить, о подвигах упоминалось частенько, и прежде всего мной. Мне очень хотелось выглядеть в глазах Нюси если не героем, то, во всяком случае, незаурядной личностью, совсем не похожей на служащих Наркомата почт и телеграфов, которые только и знают, что марасть бумагу. Но на первый план я выдвигал все-таки Сеню: дружба прежде всего. Однако чем больше мы говорили о Булаеве, тем скучнее становилась Нюся. Это было настолько явно, что у меня

мелькнуло подозрение: не повторяем ли мы уже то, что ей неоднократно рассказывал о себе Сеня? Но я тотчас отгонял от себя эту недостойную мысль. Чтобы Сеня хвастал? Нет, ни в коем случае. «А почему бы и нет? – ехидно спрашивал внутренний голос. – Что он, лучше тебя, что ли? Тоже, наверно, не прочь покрасоваться». Но вдруг Нюся улыбнулась, и глаза ее заблестели: за соседний столик присел худощавый молодой человек с длинным унылым носом.

– Саша Бакман, – объяснила Нюся, залившись краской. – Со мной работает. Так на скрипке играет, что даже Мациевский восхищается.

Кто такой Мациевский, мы не имели представления. Но зато мы теперь знали, что Нюсю не интересуют смелость и находчивость Сени, что ее не покорить нашими подвигами, а Саша с унылым носом, тот самый Саша, который в своей жизни не задержал даже самого мелкого карманника, ей намного интересней, чем сам Савельев. Что поделаешь, Нюся жила в том отделенном от нас невидимой стеной мире, где звучала музыка Шопена, а людей ценили не за смелость и находчивость, а за какие-то другие, неизвестные нам качества. Я немножко завидовал Саше, который никогда не увидит Хитровки, убитого Арцыговым Лесли, грязного дна жизни. И в то же время я его слегка за это презирал, как презирают слабого те, кто выполняет за него тяжелую и грязную работу, от которой зависят его благополучие, покой и сама жизнь.

Виктор понимающе на меня посмотрел и перевел взгляд на Нюсю.

– Пригласим его сюда.

– Зачем?

– Пусть посидит.

Саша оказался милым, добродушным парнем. Узнав, что мы из уголовного розыска, он сразу же проникся к нам уважением. Но его почтительность нам не льстила. Чего было перед ним рисоваться? После нескольких маловразумительных ответов на свои вопросы он, видимо почувствовав наше нежелание говорить о работе, начал рассказывать о музыкальном вечере, на котором недавно побывал. Он говорил и смущенно поглядывал на нас. Судя по всему, он не был уверен, что нам интересно. Но Виктор поощрительно кивал. Нам действительно было интересно. И, может быть, именно тогда я впервые понял, почему Савельев увлекается энтомологией, а Виктор читает техническую литературу. Почти у каждого человека есть увлечения, обычно не связанные с его профессией, но чаще всего я их замечал у работников уголовного розыска. Я уверен, что это закономерно: человек, профессией которого является борьба со злом, который очищает своими руками гниль и слизь жизни, повседневно сталкиваясь с тем, что принято называть обратной стороной медали, особенно тянется ко всему чистому и прекрасному, видя в нем обоснование своей деятельности – то, во имя чего он вынужден копаться в грязи. Пародисты любят подсмеи-

ваться над тем, что в произведениях из жизни работников милиции герои обычно увлекаются театром и музыкой, живописью и скульптурой. А между тем это естественно, иначе их жизнь была бы слишком тяжелой. И не зря Конан Дойл снабдил Шерлока Холмса скрипкой...

Я хорошо помню вечер в «Червонном валете», наш жаркий спор о Шопене и Вагнере, Бахе и Чайковском. В тот вечер к моим многочисленным увлечениям прибавилось еще одно – музыка. Тогда, зимой 1919 года, я заинтересовался Листом, который впоследствии стал моим любимым композитором. И я до сих пор благодарен Нюсе и Саше, что они открыли мне новый солнечный мир – мир звуков.

Саше предстояло ночное дежурство, и мы провожали Нюсю домой вдвоем. И опять говорили о Сене, о том, как жаль, что он сейчас не с нами. Нюся молчала, она думала о чем-то своем, что, наверное, не имело никакого отношения ни к нам, ни к борьбе на внутреннем фронте, ни к нашему другу...

Махнув рукой в варежке, она исчезла в парадном, а мы еще долго стояли у дома, где жила девушка, которую не интересовали кражи и налеты, засады и перестрелки, которая не подозревала, что где-то сейчас готовится к очередному преступлению знаменитый бандит Яков Кошельков, тот самый Кошельков, на поимку которого через две недели будут брошены все силы уголовного розыска. Мы шли по пустынным улицам, в лицо нам бил снежной крупой холодный ве-

тер, а с неба светили звезды.

Это произошло вечером ровно через две недели после посещения нами «Червонного валета». И это событие сразу же отодвинуло и музыку, и Сенину неудачную любовь, и наши увлечения литературными диспутами...

В уголовном розыске по ночам всегда дежурила специальная группа – ответственный дежурный, инспектор, субинспектор, два агента и несколько красноармейцев из боевой дружины. Ответственным дежурным был в тот вечер Мартынов, но он не спал уже две ночи и поэтому, устроившись в прилегающей к дежурке комнате, наказал будить себя только в случае чрезвычайного происшествия. Заменял его Сухоруков, который числился инспектором. Помимо него дежурили я и Сеня Булаев.

На днях наш новый завхоз раздобыл грузовик великолепных сухих дров, и стоящая посередине комнаты буржуйка румянилась своими чугунными боками. Было не только тепло, но даже непривычно жарко. Сеня снял валенки и забрался на диван с ногами, а Виктор отстегнул ремни и стащил с себя гимнастерку.

– Вот так бы всю ночь без происшествий! – мечтательно сказал Сеня.

И не успел он договорить последних слов, как зазвонил телефон.

Виктор снял трубку.

– Ответственный дежурный по уголовному розыску инспектор Сухоруков слушает, – сказал он. – Что?.. Не слышу, громче!.. Да, да...

Я увидел, как обращенная ко мне щека Виктора побелела, и понял, что произошло что-то страшное.

Виктор повесил трубку на рычаг и встал.

– Ты что, Витя?

– Час назад бандиты напали на Ленина.

– Жив?

– Не знаю...

– Почему не спросил?

– Побоялся... – совсем по-детски признался Виктор. Сеня подскочил к телефону, схватился за трубку.

– Барышня! – закричал он. – Соедините меня с дежурным МЧК! Откуда я знаю, какой номер?! Да некогда мне смотреть... Посмотрите у себя! Соединяете? Давайте, жду! Паснов? Что с Владимиром Ильичом? Я не о том. Ранен? Нет? Ладно, будем ждать... Жив! – крикнул Сеня, оборачиваясь к нам. – Ни одной царапины!

Он расстегнул куртку и вытер рукавом покрывшееся испариной лицо.

Через несколько минут в дежурку уже входил Медведев.

– Ограбление совершила банда Кошелькова, – сказал он, не раздеваясь. – Приметы полностью совпадают. Видимо, там еще были Сережка Барин и Ефимыч. Сухоруков!

Виктор вытянулся.

– Вот приметы машины. Немедленно сообщите о них по районам, а после этого отправляйтесь под арест: в таком виде дежурство не несут.

– Слушаюсь.

– То же относится и к вам, Булаев.

Медведев отдал несколько распоряжений и кивнул мне:

– Поехали!

Во дворе нас ждал лимузин. В него с трудом втиснулись Медведев, я и три красноармейца.

Вон как обернулась моя оплошность! Ведь если бы я тогда задержал Кошелькова, ничего бы не было. Ничего! А теперь... Страшно было подумать, что жизнь Ленина висела на волоске.

Ленин... Впервые я его увидел на первомайской демонстрации в 1918 году. Мы были втроем: Виктор, Груздь и я.

Холодное пасмурное утро. Стройные ряды латышских стрелков, отряд из бывших военнопленных. Обнажив головы, проходят красноармейцы мимо могил павших за революцию к Спасским воротам, а оттуда к Ходынке. Над Красной площадью – одинокий аэроплан, белыми птицами кружат сбрасываемые с него листовки. Рядом с трибуной – автомобиль турецкого посланника; посланник не потрудился выйти из автомашины. К чему?

Но вот на площадь широким потоком хлынули люди. Красные знамена, транспаранты, лозунги: «Даешь миро-



вую!», «Да здравствует власть Советов!», «Мир хижинам – война дворцам!». Суровые, истощенные лица улыбаются. Отцы и матери высоко поднимают на руках детей.

«Ле-нин! Ле-нин!» – гремит над площадью. И кажется, что этот крик многотысячной толпы пугает турецкого посланника, он быстро, по-птичьи начинает вертеть шеей. И вот уже его глаза обращены туда же, куда устремлены тысячи глаз демонстрантов, – он смотрит, не отрываясь, на Ленина... «Да здравствует всемирная Советская республика! Смерть капиталистам!» Молодой звонкий голос уверенно запекает: «Вставай, проклятьем заклеянный, весь мир голодных и рабов!» Песню подхватывают. И грозно несется, вздымаясь к небу, знакомая мелодия: «Мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем».

«А я думал, что Ильич ростом повыше», – говорит Виктор.

«Мал золотник, да дорог, – отзывается Груздь. – Видал, какой лобастый?! Голова! Милены книг там вместились. – И тут же с беспокойством добавил: – Зазря только он в пиджачке... Так и простыть немудрено!»

О том, что он видел Ленина, Груздь потом часто рассказывал Тузику. «Такой человечье раз в тысячу лет рождается, никак не чаще, – говорил он. – Все насквозь видит: где революционная ситуация, а где империалисты хотят подгадить. Ильич – это Ильич, нам, пролетариату, без него никак нельзя. Понял?» – «Понял», – подтверждал Тузик. «То-то

же! Накрепко запомни, что Ленин обо всех нас в общем и о тебе в частности, если рассуждать диалектически, сердцем изболелся и на последний бой с мировой буржуазией пролетариат ведет. Вождь, одним словом!»

Я вспомнил, как после одного из таких разговоров Тузик попросил у меня книжку про Ленина, но у меня ее не оказалось. Не знаю, была ли тогда вообще такая книжка. А сегодня Ленин мог погибнуть от руки бандита, того самого бандита, которого упустил Александр Белецкий.

Я нащупал в кармане рукоятку браунинга. Да, Яков Кощельков, у нас с тобой личные счета. И если сейчас мы встретимся, то ты уже от меня не уйдешь.

Москва была разбита на десять участков, для каждого из них выделили патрульную машину. Часть машин принадлежала ВЧК, остальные были взяты в различных учреждениях.

Ехали мы почти вслепую: зима была снежная, выюжная. Ветер швырял в ветровое стекло пригоршни снега, фигуру человека можно было различить не дальше, чем за пять метров. Кругом только сугробы снега. На Петровке мы влетели в какую-то яму. Пришлось выйти из машины и вытаскивать ее. Один из красноармейцев рассек при толчке бровь. Ругаясь, он приложил ко лбу пригоршню снега, который сразу же стал розовым.

У гостиницы «Националь», первого дома Советов, нас остановил милицейский патруль.

– Какие-нибудь новые сведения поступали?

– Никак нет, товарищ начальник.

Мне очень хотелось расспросить Александра Максимовича о подробностях нападения на Ленина. Но Медведев молчал, а я не решался заговорить первый. Только намного позднее я узнал, как все произошло.

Владимир Ильич вместе со своей сестрой Марией Ильиничной поехал в одну из лесных школ в Сокольниках, где находилась Надежда Константиновна Крупская. Их сопровождал только один охранник, Чебанов. За рулем сидел лю-

бимец Ленина Степан Казимирович Гиль. Недалеко от Каланчевской площади их окликнули. Не обращая внимания, Гиль продолжал ехать. Но когда стали подъезжать к Калининскому заводу, на середину дороги выскочило несколько человек с револьверами в руках.

– Стой!

Гиль не снижал скорости.

– Стой, стрелять будем!

Ленин, решив, что это милицейский патруль, наклонился к Гилю:

– Остановитесь, Степан Казимирович.

Гиль затормозил. В ту же секунду неизвестные плотным кольцом окружили машину.

Ленин приоткрыл дверцу, спокойно спросил:

– В чем дело, товарищи? Вот пропуск.

– Молчать! – резко крикнул высокий и сутулый, с маузером в руке, и, держа дуло оружия на уровне груди Ленина, распорядился: – Обыскать!

– Какое право вы имеете обыскивать? – возмутилась Мария Ильинична. – Предъявите ваши мандаты!

– Уголовным мандатов не надо, у них на все права есть, – усмехнулся сутулый.

Сопротивляться уже было поздно. Теперь малейшая попытка к сопротивлению могла кончиться трагически – смертью Ильича.

Бандиты забрали документы и оружие, влезли в автомо-

биль. Кто-то из них передернул затвор винтовки.

– Брось, ни к чему...

Взревел мотор, и машина исчезла в пелене снега.

Нападение произошло недалеко от здания районного Совдепа, откуда Ленин и позвонил в ВЧК Петерсу. Никто из бандитов не знал, что ограбленный – Председатель Совета Народных Комиссаров. Это обстоятельство и спасло Владимиру Ильичу жизнь...

За неделю до нападения на Ленина по приказанию Медведова была арестована невеста Кошелькова Ольга.

Кошельков был озлоблен до предела. Поступали агентурные сведения, что он даже подбивал своих дружков к нападению на уголовный розыск.

В дальнейшем один из бандитов, некий Клинкин, по прозвищу Ефимыч, шофер Кошелькова, на допросе показал, что после ограбления Кошельков начал в машине просматривать отобранные документы. Вдруг слышу, говорил Клинкин, орет:

– Останови машину! Гони назад!

– Почему? – спрашиваю.

– Да потому, – отвечает, – что то был сам Ленин... – Он был как в лихорадке. – Кто на нас подумает? На политических подумают... Дело-то какое, раз в сто лет так пофартит... Еще и переворот может быть, тогда награду получим.

– Зря остановил, – с сожалением протянул Сережка Барин. – Ведь я их уже на мушку взял!

– Откуда знать-то? – огрызнулся Кошельков и забарабанил рукояткой маузера по спине Клинкина. – Не спи, Ефимыч!

Тот развернул машину.

– Быстрей, быстрей! – подгонял Кошельков. – Газуй, фраер!

Заваленная снегом дорога была пустынна...

Сережка Барин и Кошельков выскочили из машины.

Проваливаясь по колено в глубокий снег, выбрались в переулоч. Кошельков заглянул в раскрытые ворота одноэтажного домика, в окнах которого сквозь морозные узоры слабо мерцал огонек.

– Может, сюда завернули?

– Нет, не видишь, какой сугроб у крыльца намело?

Побродив минут десять по безлюдному переулочу, ругаясь, вернулись к машине.

Обо всем этом не знали тогда ни Медведев, ни я.

На Якиманке нас опять остановили. Милицейский патруль сообщил, что в Сокольниках убито два милиционера, а у Мясницких ворот один милиционер ранен. Машина с бандитами не задержана.

– Раненого допрашивали? Что он показал?

– Говорит, стреляли неизвестные с легковой машины. Подъехала машина, кто-то свистнул в милицейский свисток. Ну, он, натурально, подошел, а те стрелять... В трех местах пораненный...

Это, конечно, работа Кошелькова: после ареста Ольги он хвалился, что всех милиционеров в Москве перестреляет. Для этого и машину раздобыл.

Я до боли в глазах вглядывался в белую мглу, чувствуя, как от напряжения по щекам катятся слезы. Внезапно мне показалось, что впереди в свете фар мелькнуло что-то темное и расплывчатое. Машина? Нет... А может быть, все-таки машина? Точно, машина.

– Александр Максимович, автомобиль.

– Вижу, – почти не разжимая губ сказал Медведев. – Приготовьтесь.

Сидящий рядом со мной красноармеец, держа в одной руке винтовку, вылез на подножку. Его примеру последовал другой. В машину ворвались ветер и снег. Я не вижу, но чувствую, как Медведев достает из кобуры наган.

– Заезжай сбоку, – наклонился он к шоферу, – слева, жми его к домам.

Но когда мы почти настигаем мчащуюся впереди нас машину, шофер опознает ее.

– Из МЧК, – говорит он и сворачивает направо.

Минут через десять возле Крымского моста мы наталкиваемся на машину Владимира Ильича. Она стоит у обочины дороги, в ней никого нет, дверцы распахнуты, горящие фары освещают два трупа, лежащие недалеко от передних колес. Я обращаю внимание на пулевые отверстия в ветровом стекле, от них лучами разбегаются в разные стороны трещинки. На

спинке переднего сиденья заледеневшие следы крови: кто-то из бандитов ранен. Подхожу к убитым – это молоденький красноармеец и милиционер в островерхой шапке с красной матерчатой звездой. Красноармеец сжимает мертвыми руками винтовку. Стрелял, видимо, он, милиционер нагана достать не успел.

– Ишь как держит! – говорит один из красноармейцев, приехавших с нами, пытаясь разжать пальцы убитого. – И после смерти свое оружие отдавать не хочет!

– Не надо! – машет рукой Медведев. – Оставь...

Он медленно стаскивает с головы ушанку. Мы следуем его примеру. Несколько минут стоим молча. Потом Медведев проводит ладонью по покрытым снегом волосам, надевает шапку.

– Проверь, машина может своим ходом пойти? – обращается он к шоферу и приказывает красноармейцам перенести убитых в машину.

– Александр Максимович, может, поищем? Не могли они далеко уйти, тем более ранен у них кто-то.

– Попытаемся.

Подъехал грузовик с красноармейцами. Разбившись на небольшие группки по два-три человека, мы тщательно прочесали все близлежащие улицы и переулки. Безрезультатно.



Через несколько дней после нападения на Ленина в «Известиях» были опубликованы обращение Московского Совета к населению и приказ начальника Московского окружного комиссариата по военным делам.

«В городе за последние годы участились случаи разбойных нападений, – писалось в обращении. – С обнаглевшими бандами начата решительная борьба, в которой население должно содействовать органам Советской власти.

Бандитизм, нарушающий нормальное течение жизни Москвы, будет твердой рукой искоренен как явление дезорганизующее и играющее на руку контрреволюции. О всех случаях нападения немедленно звонить по телефону 1-34-90, 1-20-82 и 3-92-64. Обо всех подозрительных лицах сообщать в Московскую Чрезвычайную комиссию, Лубянка, д. 14».

«...Всем военным властям и учреждениям народной милиции, – грозно заканчивался приказ, – в пределах линии Московской окружной железной дороги расстреливать всех уличенных и захваченных на месте преступления, виновных в производстве грабежа и насилий».

Этим двум документам предшествовало совещание ВЧК, МЧК, Московского уголовного розыска и административного отдела Московского Совета, созванное заместителем

председателя ВЧК Петерсом по поручению Дзержинского. От нас на совещании присутствовали Медведев, Мартынов и Савельев.

– Сам факт созыва такого совещания, – говорил Медведев на ночной оперативке, – свидетельствует о том, что мы не справляемся с порученным делом. Сейчас к борьбе с бандитизмом привлекаются части военного гарнизона, ВЧК и широкие слои населения. Но это не значит, что с нас в какой-то степени снимается ответственность за ликвидацию бандитских групп. Более того, созданная на совещании комиссия по борьбе с бандитизмом совершенно справедливо считает, что Московский уголовный розыск должен стать штабом борьбы с бандитизмом. В наше распоряжение переданы дополнительные средства, транспорт, оружие. Дело за нами. Сегодня утром ко мне приходила делегация с завода Гужона. Рабочие, возмущенные нападением на вождя мировой революции, хотят нам помочь. Мы благодарны им и воспользуемся их помощью. Как вам известно из приказа, мы будем проверять гостиницы и частные квартиры, в которых могут найти приют преступники. К этим проверкам необходимо привлекать рабочих. В отличие от царской полиции мы работаем для народа, а следовательно, всегда найдем у него поддержку, надо научиться ею пользоваться.

После оперативки мы расходились мрачные, злые. Каждый понимал, какая на него ложится ответственность.

– Медведев еще либеральничает, – говорил Виктор. –

Другой бы на его месте всех разогнал к чертовой бабушке. Что такое комиссия по борьбе с бандитизмом? Недоверие к нам. Вот что она такое. И обоснованное недоверие.

Я было заикнулся о своей вине, но Виктор досадливо поморщился:

– Хватит себя бить кулаком в грудь. Надоело. Все мы виноваты. Прошляпили. Теперь пора не каяться, а работать.

Я никогда не подозревал, что в Москве столько гостиниц: «Люкс», «Гренада», «Догмара», «Бельгия», «Астория», «Утеха», «Брюссель», «Лондон», «Гамбург» и даже «Приют ловеласа», который содержал какой-то обрусевший француз.

Каждую гостиницу в зависимости от ее размера обследовала группа, состоявшая из одного сотрудника уголовного розыска и восьми – пятнадцати вооруженных рабочих. Проверки большей частью проводились ночью. Мы перекрывали все выходы, знакомились с книгой регистрации, а затем начиналось путешествие по номерам. Гостиницы оказались государством в государстве. Кого только там не было! Актеры провинциальных театров, валютчики, представители богемы, мелкие и крупные спекулянты, бывшие камер-юнкеры, сутенеры, культуртрегеры с иностранными паспортами, вызывавшими серьезные сомнения в их подлинности, архиреволюционные эсеры, поспешно сжигавшие компрометирующие документы, томные дамы с напудренными носиками, в платьях из портьер и с фальшивыми бриллиантами, которые вдруг оказывались настоящими...

Проверки обычно проходили бесшумно, если не считать истерик излишне впечатлительных дам и горячих протестов постояльцев, не совсем уверенных в безупречности своей биографии. Но было и несколько случаев вооруженного сопротивления. В «Приюте ловеласа» мне чуть не прострелил голову маленький, поросший, как обезьяна, бурым мехом гражданин, который по паспорту числился, если не ошибаюсь, бароном Гревсом, подданным Перу. На допросе барон заговорил почему-то с одесским акцентом. После этого его угрозы нотой протеста правительства Перу ни на кого уже не произвели впечатления. А еще через полчаса он мирно беседовал с Савельевым и стыдливо шмыгал носом, когда тот укоризненно ему говорил:

– И не стыдно Одессу позорить? Ведь теперь вся Пересыпь смеяться будет. Где твоя фантазия? Перу! Ты хоть знаешь, где Перу находится?

– В Китае? – с надеждой спрашивал «барон Гревс».

– Ах, Леня, Леня, чтобы взламывать сейфы, географии не требуется, но, чтобы подделывать паспорта, нужно с ней познакомиться, по крайней мере в пределах гимназического курса.

В результате обследования гостиниц было задержано свыше двухсот человек, среди них шестьдесят пять крупных рецидивистов. Их допросы дали нам многое. По предложению Петерса сообщение об этом было направлено в газету «Известия». Опубликовали его в середине февраля. С точностью

установлено, писала газета, что «арестованные в курсе всех дел по совершенным за последнее время разбойным нападениям и хорошо знают всех участвовавших в последних бандитских выступлениях. Большинство совершенных преступлений благодаря удачному задержанию указанных выше 65 человек можно считать в данный момент уже раскрытыми, личности бандитов, принимавших участие в этих преступлениях, точно установлены, обнаружены также квартиры, служившие местом сборищ бандитов и их совещаний перед совершением того или иного разбойного набега».

Такая оценка проведенной работы не могла не радовать.

– Видал, Мефодий? – гордо потрясал Груздь газетой перед носом Мартынова. – Центральная пресса оценивает. Так черным по белому и написано. – Он поднял кверху заскоружный палец: – «Благодаря удачному задержанию указанных выше 65 человек...»

Но Мартынов не разделял восторга матроса: Кошельков со своей бандой по-прежнему был на свободе. Правда, нам удалось взять нескольких уголовников, близких к его шайке. Среди них – Гришку Кобылью Голову, Заводного и Лешку Картавого, но о Кошелькове они ничего не знали.

Для проверки показаний Лешки Картавого о связях Барина я был направлен в Петроград.

На вокзале, как всегда, былолюдно. Поданный поезд со всех сторон облепила орущая толпа. Но Груздь, успевший познакомиться с красноармейцами, ехавшими через Москву

на побывку в Петроград, мигнул ребятам, и они втянули меня за руки в выбитое окно вагона. В купе оказалось человек восемь, так что устроились мы почти с комфортом.

Поезд медленно тащился мимо лесов, словно окутанных ватой, заснеженных равнин, полуразрушенных, покосившихся дач, потонувших в белом безмолвии, деревенок с кудряшками черного дыма из низеньких труб.

Красноармейцы, аппетитно похрапывая, спали по очереди на полках, пили морковный чай с постным сахаром, резались в карты. На третьи сутки показались предместья Петрограда. Темные дощатые домишки, пакгаузы с сорванными дверями, снежная слякоть пустынных перронов, облупившиеся пристанционные здания.

Вокзал походил на московские. Такой же шумный, гомонящий, спящие вповалку люди, красноармейцы с винтовками, «бывшие» в потертых шубах, мешочники, громко плачущие дети. Если петроградцы и отличались от москвичей, то только тем, что в их глазах было чуть больше голодного блеска, а втянутые щеки чуть больше запали. Да, голод сюда пришел раньше, чем в Москву, здесь еще больше ценили хлеб...

Посреди площади Восстания вместо бронзовой статуи императора высился дощатый куб, лохматый от обрывков плакатов. Громады черных, угрюмых домов, бесконечно длинный Невский.

На Дворцовой площади – отлитые из гипса, припорошен-

ные снегом памятники великим революционным деятелям, выполненные в футуристической манере. Голова Перовской – в виде куба с приделанными треугольниками носа, губ и подбородка. Наискось площади – серая лента красноармейцев, над передними рядами плакат: «Смерть Деникину! Да здравствует мировая революция!» Тут и там группы вооруженных рабочих с красными повязками на руках. Покосившиеся фонарные столбы, у распределительных пунктов угрюмые очереди. И опять отряды четко отбивающих шаг красноармейцев – даешь мировую революцию!

В Петроградском уголовном розыске встретили меня хорошо. Начальник розыска, старый большевик, бывший путилевский рабочий, выделил мне в помощь трех человек, так что с заданием удалось справиться за сутки. И на следующую ночь я уже выехал обратно в Москву, куда я так рвался, чтобы принять участие в поимке Кошелькова.

На этот раз я ехал с матросами из особого отряда, который направлялся на Восточный фронт. Бренчали гитары, надрылась гармоника, а в коридоре молодой моряк с узенькой полоской подбритых усов читал популярные в те годы стихи:

Я не в разнеженной природе  
Среди расцветшей красоты —  
Под дымным небом на заводе  
Ковал железные цветы.  
Их не ласкало солнце юга,

И не баюкал лунный свет —  
Вагранок огненная выюга  
Звонящий обожгла букет...

У чтеца были чистые голубые глаза и припухлые детские губы, а бушлат его стягивали крест-накрест пулеметные ленты. Наверно, ему было не больше девятнадцати— двадцати лет. Громко пыхтел паровоз, оставляя за собой веер красных искр.



– Вам письмо, гражданин Белецкий! – сказала жена доктора, когда я забежал вечером переодеться. (После визита Кошелькова Тушновы разговаривали со мной сугубо официально.)

«Наверно, от сестры», – подумал я, взяв серый конверт. Но мадам Тушнова, кривя губы, объяснила:

– От вашего приятеля, босняка с Хитровки.

– Спасибо, – поблагодарил я, направляясь к себе. Но жена доктора меня окликнула:

– Минуточку, гражданин Белецкий!

– Да?

Хотя в цветастом капоте, с торчащими из-под ночного чепца бумажными папильотками трудно было изобразить богиню мщения, мадам Тушнова воплощала Немезиду.

– Видимо, гражданин Белецкий, – холодно отчеканила она, – вы считаете, что ваш друг, который явился под видом агента ЧК, не полностью обчистил квартиру, и решили приспособить к этому революционному делу своего малолетнего – как это в вашей среде говорят? – кореша? Так я вас предупреждаю, что муж уже написал куда следует о ваших неблагоприятных поступках. Да, написал, и не делайте, пожалуйста, зверской физиономии: вы меня не запугаете! Стыдитесь! – внезапно взвизгнула она и подняла для чего-то вверх указа-

тельный палец, на котором матово блеснул перстень.

Ее выпуклые глаза так выкатились, что, казалось, еще секунда – они выпадут из орбит и со звоном покатятся по паркету. Но она тут же успокоилась и продолжала уже своим прежним замороженным голосом:

– Муж не только написал, но лично был на приеме у весьма высокопоставленного лица, имя которого вам знать совершенно необязательно. И тот заверил, что примет соответствующие меры. Вам это, надеюсь, понятно? Самые решительные меры пресечения!

– Все?

– Нет, не все. После всего происшедшего мы со своей стороны решили принять меры, гарантирующие нашу безопасность. С нас достаточно налетов! Поэтому я вас предупреждаю, чтобы вы не смели являться позже шести часов вечера. После шести можете ночевать на Хитровке! В бандитском логове! В притоне! Но не смейте ломиться в квартиру к честным людям! Никто двери вам после шести часов открывать не будет!

– Только попробуйте!

– Да, никто двери вам открывать не будет, хоть стреляйте!

– А вот начну стрелять, тогда посмотрим! – пообещал я.

Эффект от сказанного превзошел всякие ожидания: мадам Тушнова побелела, и ее щеки приобрели цвет бумажных папилюток. Наступила тишина. В прихожую заглянул доктор.

– То есть как стрелять? – проямлил он.

– Очень просто.

– В кого?!

– В дверь, из браунинга, – с холодным бешенством сказал я.

– Выродок! Бандит! Хулиган! – взвизгнула мадам Тушно-ва, скрываясь в своей комнате.

Из-за двери до меня донеслись громкие рыдания и истерические выкрики:

– Бобочка! Этот негодяй нас убьет! Бобочка, беги в ЧК!

Я понимал, что моя выходка смахивает на хулиганство. Но сдержаться себя я уже не мог: один вид этих обывателей вызывал раздражение, а тут еще грязь, которую она вылила на меня и Тузика, а главное – упоминание о Кошелькове, о моей оплошности, за которую я себя казнил день и ночь...

С чего это Тузик решил затеять со мной переписку?

Мне показалось это забавным. Со времени нападения на Ленина мальчишка ко мне не заходил. Правда, я его как-то видел мельком в уголовном розыске, в приемной Медведева. Но поговорить было некогда. Кстати, как он оказался в приемной? Что ему потребовалось от Медведева? Совсем от рук отбился. Надо будет поговорить о нем с Груздем. Если уж тот взял над ним шефство, то пусть по-настоящему займется мальчишкой, а то болтается он неизвестно где, дружит неизвестно с кем. Недаром говорят, что у семи нянек дитя без глазу. Если пойдет со своими хитровскими приятелями

по скользкой дорожке, то уже что-либо предпринимать будет поздно. И почему у человека должно быть так много забот?

Надорвав конверт, я достал тщательно сложенную записку. На пористой серой бумаге, видимо оберточной, химическим карандашом было нацарапано: «Саша! Есть об чем поговорить. Очин важно!!! Приходи в «Стойло Пигаса». Тимофей».

Что у Тузика за «очин важные дела»? В конце концов, мог бы и подождать меня здесь.

«Стойло Пегаса» находилось на Тверской, а в моем распоряжении было всего полчаса: Мартынов сразу же после моего возвращения из Петрограда включил меня в группу, которой была поручена ночная операция. На допросе невеста Кошелькова Ольга, худенькая истеричная девушка, между прочим показала, что Кошельков несколько раз бывал на даче у родственников Клинкина (Ефимыча). Один раз она ездила туда вместе с ним и запомнила расположение дачи. Про эту дачу слыхала и Севостьянова, которая утверждала, что Кошельков часто хранил там награбленное. Поэтому дача на всякий случай была взята под наблюдение, разумеется негласное. Сотрудники, которым это поручили, ежедневно информировали Мартынова, что ничего подозрительного они не замечали. Мартынов уже хотел было снять оттуда людей, когда Конек, задержанный в подпольном карточном притоне, сказал, что Кошельков намеревался скрыться из Москвы и договорился встретиться с Клинкиным на ка-

кой-то даче, куда он свозил награбленное. Что это за дача и где она находится, Конек не знал, но об этом теперь было нетрудно догадаться. Таким образом, представлялась реальная возможность захватить сразу же двух бандитов. Да, Тузика сегодня повидать не удастся. Придется ему отложить свое «очин важное дело» до следующего раза.

Мартынов отличался исключительной пунктуальностью: если он назначил выезд на десять часов ноль-ноль минут, то он состоялся именно в это время – ни на минуту позже, ни на минуту раньше. Об этой черте его характера знали все. Во дворе уголовного розыска уже стоял грузовик, возле которого толпились люди. Мартынов вместе с Медведевым стояли в стороне и о чем-то разговаривали. Мартынов был в длинной, почти до пят, шубе и круглой меховой шапке. Его широкая черная борода совершенно заиндевела.

– Забирайся, хлопцы! – зычно крикнул он.

В кузов один за другим с шутками начали залезать рабочие и сотрудники розыска.

– Хватайся! – протянул мне руку Виктор.

Я сделал вид, что не заметил ее, и, взявшись за обледененный борт, лихо вскочил в кузов.

Мартынов открыл было дверцу кабины, но потом почему-то раздумал, махнул рукой в квадратной варежке и, побряхтывая, полез тоже в кузов.

– В тесноте, да не в обиде, а? – сказал он, втискиваясь на узкую дощатую скамью между мной и Виктором. Выпуская из рта клубы морозного пара, постучал по крышке кабины шоферу.

– Трогай!

В машине уместилось человек тридцать. Все сидели, тесно прижавшись друг к другу: было холодно. Мороз прихватывал основательно. Особенно это почувствовалось, когда выехали за город. Скрываясь от ветра, я так согнулся, что касался подбородком колен.

– Что скрючился?! – закричал на ухо Мартынов. – Тебе бы вагоновожатым поработать: каждый божий день на холоде восемь часов, а кто и все шестнадцать, две смены трубит – на двадцать восемь рублей в месяц не проживешь с семьей. Две смены в графике у нас крестом отмечали. Вот мы промеж себя и шутили, что зарабатываем крест на Ваганьковском...

Не доезжая версты две до дачи, недалеко от линии Балтийской железной дороги, мы вылезли из машины. Мартынов отозвал в сторону одного из оперативных сотрудников и, показав ему на чертеже расположение дачи, что-то сказал. Тот кивнул и с группой рабочих направился по дороге куда-то влево, видимо в обход. Остальные, за исключением двоих, оставшихся в машине, по одному и по двое пошли к даче по разным сторонам узкой улочки. Моим напарником был Мартынов. Впереди нас на этой же стороне, метрах в десяти – пятнадцати, маячила спина Виктора. Несколько раз мы сворачивали, и я подумал, что один я бы ни по какому плану этой проклятой дачи никогда не нашел. Внезапно Виктор исчез, словно сквозь землю провалился.

– Пришли, – сказал Мартынов и мотнул подбородком в сторону одноэтажного домика за низкой изгородью.

Домик находился в глубине двора. Его окружали заснеженные деревья.

– Подожди, – остановил меня Мартынов, когда я начал искать на ощупь щеколду калитки.

Некоторое время мы молча стояли, прислонившись к калитке. Потом кто-то дважды свистнул. Только тут я заметил Виктора: он стоял во дворе, почти слившись со стволом старого развесистого дерева. После свистка он поднял руку, махнул рукой и другой сотрудник, стоявший по другую сторону тропинки. Его же я тоже только сейчас увидел. Вся дача была окружена...

По узкой дорожке, протоптанной в глубоком снегу, мы прошли через оцепление к крыльцу. Я полез было на крыльцо, но Мартынов остановил меня: не лезь поперек бабки в пекло!

Став сбоку от двери, он постучал. Дверь тотчас открылась, будто нас уже ждали. На пороге стоял старик в ватнике, маленький, длинноносый, щуплый.

Не говоря ни слова, он пропустил нас в сени. Здесь было темно. Мартынов зажег зажигалку, и мы через кухню прошли в небольшую комнату, где над овальным столиком висела керосиновая лампа под цветным стеклянным абажуром. За столиком сидела старуха и раскладывала пасьянс.

– Вечер добрый, бабушка! – весело сказал Мартынов. – Как желания, сбудутся?

Не поворачивая склоненной под картами головы, старуха



ворчливо сказала:

– Наследили, ноги лень вытереть...

– Чего там, – вступился старик, – гости издалеча... Ты бы чесанки дала, измерзлись...

– Вот и дай.

Мартынов скинул шубу и шапку.

– Шурка не приходил?

– Запаздывает чтой-то... А вы от него?

– Нет, папаша, из уголовного розыска.

– Вот оно что!

– Не тех гостей ждали?

– А нам все едино, – не поворачивая головы в нашу сторону, ответила старуха. – Мы люди маленькие.

– Маленькие-то маленькие, а бандитскую добычу храните.

– Это как же храним? – забеспокоился старик. – Слышишь, Надежда Федоровна, что товарищи сказывают, храним будто. Мы, дорогие граждане-товарищи, ничего не храним и не таим. Храним! Чего там хранить? Привезет Шурка: «Пусть полежит у тебя, тестюшка!» Пусть полежит – не корова, корма не требует. А что и откуда, нам знать не дано, честно или нечестно добыто, нам неизвестно. Положил, и лежит. А что положил, и глядеть не будем, нелюбопытно нам.

– А нам любопытно, – прервал Мартынов расходившегося старика.

Бандиты свезли на дачу многое: меховые ротонды, мерлушковые пальто, бобровые воротники. В наволочке хра-

нились романовские золотые и серебряные деньги, серьги, кольца, золотые безделушки. Отдельно лежали сложенные в аккуратные пачки царские сторублевки и керенки.

– Хоть магазин открывай, – ухмыльнулся Мартынов, небрежно толкая ногой развязанные туки. – Нелюбопытный все-таки ты, папаша!

Ефимыча привели через час. Руки у него были связаны. С рассеченной губы лениво скатывалась на грудь алая струйка крови, в густых курчавых волосах – снег, франтоватый романовский полушубок разорван в нескольких местах.

Я с любопытством разглядывал шофера Кошелькова. Ему было лет тридцать пять – сорок. Тяжелая, отвисшая челюсть, угловатое лицо с нечистой кожей.

– У калитки взяли.

– Один был?

– Один.

Мартынов встал.

– Когда Кошельков будет?

– Сначала руки прикажи развязать, – попросил Клиinkin, – ремни режут.

– Только чтоб тихо, – предупредил Мартынов, – не буйствовать.

– Чего ж буйствовать, когда вся хибара окружена, – рассудительно ответил Клиinkin, отирая о плечо кровь с подбородка. – Видать, отгулял...

– Отгулял, Ефимыч, – согласился Мартынов. – Ваше дело

такое: сегодня гуляешь, а завтра – в расход. Бандитское дело, одним словом. Так когда Яков будет?

– Не придет Яков Павлович. Завсегда так: большая рыба сети рвет, а малая в ячейках застревает.

– Ты философию не разводи! – прикрикнул Виктор. – Где Кошельков?

– Много у вас начальства, – прищурился Клинкин. – И он начальство, и ты начальство. Стакан самогона выпить дозволите?

Старик, шаркая ногами, принес бутыль и миску квашеной капусты с ледком. Ефимыч выпил, закусил, смочил в самогоне край вафельного полотенца и тщательно стер кровь с лица и с полушубка.

– Вот теперь и побалакать можно. Говорил мне, дураку, Яков Павлович, не сегодня завтра легавые засаду на даче поставят, не суйся туда, Ефимыч, пропади пропадом барахло это. Не послушался, думал, успею...

Мартынов и Виктор переглянулись.

– Откуда Кошельков узнал про засаду?

– Упредили его.

– Кто?

– А я знаю кто? Из ваших кто-то...

– Врешь!

– А чего мне врать?

На даче мы пробыли до утра. Кошельков так и не появился... Когда уводили Ефимыча, он в пояс поклонился стари-

кам.

– Простите, коли в чем виноват!

– Бог простит, – ответила старуха, а старик подошел к нему и вкрадчиво сказал:

– Поминанье, Шура, закажем, не беспокойся. А полушубочек оставил бы, а? Тебе он теперь ни к чему, а нам со старухой какая ни на есть, а прибыль...

– Я тебе дам полушубочек, живоглот! – взорвался Виктор. – Еще кальсоны с него стащи! Не знаешь, что ли, какой мороз?!

– А ты не ори, не ори, – зашипела старуха, – тоже жалостливый! Дело-то наше семейное, ну и не встревай в него.

– Люди, – плюнул Виктор, – хуже зверья!

– Оно, конечно, темные мы, – подобострастно согласился старик, – никаких понятий, – и выжидательно посмотрел на Клинка.

Тот молча скинул с себя полушубок, на мгновение задумался и начал расстегивать черную на меху кожаную куртку.

Когда подходили к машине, губы у него посинели от холода, а нос заострился, как у покойника.

Виктор бросил ему шубу.

– Надень! – А на вопросительный взгляд Мартынова объяснил: – Из тюков, которые на даче нашли... Приедем в розыск – отберу. – И, словно оправдываясь, добавил: – Бандит-то он бандит, а человек все-таки...

Мартынов промолчал.

Кто сообщает Кошелькову о всех готовящихся операциях уголовного розыска?

Догадок было много, однако каждый хранил свою про себя.

Допросом задержанных по делу Кошелькова занималось пять-шесть следователей. От них протоколы допросов поступали к Медведеву, который делал пометки с указанием, что необходимо дополнительно выяснить, а затем возвращал их следователю или передавал оперативному сотруднику для разработки очередной операции. Мы с Виктором как раз занимались таким протоколом, когда в кабинет вошел Груздь.

– Корпите?

– Угу.

– А я пришел прощаться, в армию еду.

Мы с Виктором одновременно повернулись в его сторону.

– Зачислили?

– Пока нет, но...

– Подожди, подожди, – сказал Виктор, – Александр Максимович тебя отпустил?

Груздь насупился, и от этого его круглое широкое лицо поразительно стало походить на лицо несправедливо обиженного ребенка.

– Если рассуждать диалектически, – скучно сказал он, –

каждый гражданин молодой республики имеет полное революционное право с винтовкой в руках проливать свою алую кровь на полях сражений.

Когда Груздь говорил словами из лозунгов и плакатов, это означало, что его что-то гложет. Поэтому Виктор отложил в сторону листки протокола и мягко сказал:

– Ты диалектику пока оставь, а лучше скажи, что приключилось?

– Ничего.

– А если по правде, как на исповеди?

– Я неверующий, – вздохнул Груздь и добавил: – Религия – опиум для народа.

– Ясно, – кивнул Виктор. – Ну так что произошло?

Груздь помолчал.

– Что случилось? Что случилось? Спор у меня с Александром Максимовичем вышел. Доверчивая он душа...

– Ну и?..

– Ну и хочет меня турнуть...

Груздь, как всегда, сгущал краски. Нагоняй от Александра Максимовича он получил основательный, но никто его из уголовного розыска выгонять не собирался.

А произошло следующее. Накануне он и Горев получили задание арестовать на Божедомке одного перекупщика, который, по агентурным данным, был связан с Кошельковым. Выехали они вместе, но у цирка Груздь остановил извозчика и, тронув Горева за плечо, предложил: «Слазь». – «Что?» –

не понял Горев. «Слазь, – говорю. – Меня Кошелькову не заложешь».

– Так и сказал?! – ахнул Виктор, когда Груздь неохотно поведал эту историю.

– А что? Чего мне со всяким контрреволюционным гадом церемониться? Он нас Кошелькову продает, а я ему в глазки заглядывать буду?

– С чего ты взял?

– Своим революционным нутром чувствую. Он, больше некому.

– Какие у тебя доказательства?

– Чудак-человек, – удивился Груздь, – если б доказательства, я бы его прямо на мушку – и никаких разговоров.

Происшествие стало достоянием всего уголовного розыска. Гореву недолюбливали за барственность, ироническую манеру разговора с товарищами, за надменность. Ни для кого не было секретом и то, как он относится или, по крайней мере, относился к советской власти. Все это, вместе взятое, не могло не создавать вокруг него атмосферы недоброжелательности. Гореву, правда, никто ничего в глаза не говорил, но за его спиной шушукались, и он это чувствовал. В те дни Горев держался еще более официально, чем обычно. Был он спокоен, сдержан, и только по темным теням под красивыми миндалевидными глазами да по судороге, которая время от времени дергала плотно сжатые губы, чувствовалось, как тяжело он переживает происходящее.

Но все это – шушуканье, намеки – прекратилось довольно скоро.

На очередном оперативном совещании особой группы выступил Медведев. Подводя итоги работы по розыску участников нападения на Ленина, он между прочим сказал, обращаясь к Гореву: «Считаю своим долгом извиниться перед вами, Петр Петрович, за поведение Груздя. Мы верим в вашу честность». И этих двух фраз было достаточно, чтобы пресечь все разговоры.

– Нельзя было тебе так с бухты-барахты ляпать, – убеждал Груздя Виктор, когда мы возвращались домой после совещания. – Ну, дворянин, белая кость. А разве мало дворян революции жизни свои поотдавали? Возьми Пестеля, Рылева, Муравьева... А нынешние военспецы?

– А что военспецы? Через одного все предатели, потому и драпаем от белой сволочи. Если рассуждать диалектически, их всех бы надо в ставку Духонина отправить, – упрямо бубнил Груздь.

– Может, управляющего делами СНК Бонч-Бруевича тоже в ставку Духонина отправить надо?

– Я ему про Ерему, а он про Фому... При чем тут Бонч-Бруевич?

– А при том, что он дворянин.

– Хо!

– Вот тебе и «хо». И не один он, много дворян интересам рабочего класса служит. А в белых армиях разве мало рабо-



чих и крестьян?

– Так их же обманули!

– Но факт остается фактом, есть и сражаются со своими братьями по классу. Ты знаешь, что в грамматике, к примеру, нет почти ни одного правила без исключения? Прилагательные с суффиксами «ан», «ян» пишутся с одним «н», и тут же тебе исключения: «оловянный, деревянный и стеклянный» – с двумя...

– Скажи, пожалуйста, – поразился Груздь, которого всегда восхищали чужие знания в любой незнакомой ему области. – В гимназии учили?

– В гимназии, – отмахивался Виктор. – Да не в том суть, где учили. Я это тебе к тому привел, что исключения всегда бывают, и в грамматике, и в политике. Купцы, капиталисты, фабриканты против нас?

– Научный факт.

– Вот. А Савва Морозов большевиков деньгами снабжал, помогал им революцию делать, свой класс свергать...

– Это он с жиру бесился, – подмигнул Груздь. – У нас в деревне тоже один купчишка был, Тоболев. Как свинья жирный, зимой снега у него не допросишься, а надрызгается и обязательно орет: «Долой самодержавие!» Проспится – к нему околоточный. «Дормидонт Савватеевич, опять изволили-с в пьяном виде крамольные речи супротив государя императора говорить». – «К свержению призывал?» – «Так точно-с». – «Августейшую фамилию поносил?» – «Было-с». –

«Весь мир голодных и рабов» выкрикивал?» – «Не без того-с». – «Тогда, значитца, не менее дюжины бутылок употребил. На красненькую, щеколдыкни за мое здоровье».

Виктор прыснул, не удержался от смеха и я.

– Ну разве можно с тобой серьезно разговаривать?

– С умом все можно, – нравоучительно сказал Груздь, – а без ума ничего нельзя. Непроста во флоте говорят, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан. А ты мне вместо рыбки все таракана норовишь подсунуть да еще из него стерляжью уху хотишь сварить. Про революционное чутье слышал? Вот у Тузика, он же Тимофей, можешь поучиться. Насквозь революционный пацан и уже до коммунизма дозрел, а ты еще не дозрел, если не понимаешь, что такое революционное чутье...

Груздя переспорить было невозможно. Разговор перешел на Тузика. Груздь его случайно встретил на прошлой неделе в «Стойле Пегаса».

– Махаю ему рукой, а он будто не замечает, – сокрушался матрос, – к дверям пробирается. Выскочил я на улицу, а его и след простыл. Может, обиделся за что? А пацан замечательный, когда-нибудь большим человеком будет: профессором каких-нибудь наук или дантистом.

Распрощались мы у Сретенских ворот. Пожимая нам руки, Груздь сказал:

– А то, что Горев, голову заложить могу!

Но закладывать голову ему не стоило: информатором бан-

дитов оказался человек, на которого до этого не падало и тени подозрения...

Через несколько дней один из бандитов, Козуля, на допросе у Виктора показал, что Сережка Барин хвастался ему, будто у Кошелькова в уголовном розыске есть свой человек и ему-де ничего не страшно, что Кошельков и он, Сережка, всегда выйдут сухими из воды.

«Мне было любопытно, кто же этот деляга, но Сережка на мои вопросы не отвечал, а однажды пригрозил даже отправить на Луну, если я не отстану, – собственноручно писал в протоколе Козуля. – В октябре или ноябре прошлого года я, Кошельков и кум Севостьяновой Жеребцов играли в штосс у Курочкина, который из-за своей малоидейности на второй год революции по-прежнему содержит мельницу<sup>1</sup> на Тверской. Около часу ночи в комнату зашел Сережка и сказал Якову, чтобы он вышел. Но Кошелькову здорово везло в карты, и он выругал Сережку матом, а выйти отказался. Тогда Сережка подмигнул ему и говорит, что с ним желает поговорить тот самый парень, которого он знает. «Чернуха?» – спросил Кошельков и сразу же вышел, даже не положил в карман выигрыш. Среди московских блатных уголовных лиц под воровской кличкой Чернуха никого нет. Потому-то я и решил, что Чернуха и есть тот самый деляга из милицейских. А мне было любопытно его поглядеть, поэтому я будто бы пошел по нужде, а сам через щель в двери нужника видел,

---

<sup>1</sup> М е л ь н и ц а – тайный карточный притон.

как из соседней комнаты вышел чернявый гражданин в кожаной куртке, а за ним Кошельков и Сережка Барин. Чернявый гражданин тотчас ушел вместе с Сережкой, а Кошельков вернулся в комнату, где шла игра. Думаю, что того чернявого гражданина в интересах истины смогу опознать».

Мне как-то пришлось наблюдать за работой художника. Он рисовал карандашом. Хаотическое нагромождение волнообразных и прямых линий, точки, совсем темные и совершенно светлые места. И вдруг в какой-то неуловимый момент этот хаос штрихов превратился в лицо человека. И, глядя на него, я невольно удивлялся: как же я раньше не понимал, что художник рисует? Ведь было ясно с самого начала, что эти волнистые линии – спутанные волосы, лоб, сжатые штрихи бровей, глаза, нос, линии рта, подбородка. Все это уже было нарисовано несколько минут назад, но не воспринималось как единое целое. Лица еще не было, оно пока существовало только в воображении художника. Но вот несколько быстрых движений руки, и лицо возникло уже на бумаге – своеобразное, неповторимое в своей индивидуальности. Изображенный рукой мастера человек жил. Я мог себе теперь представить его прошлое, настоящее, безошибочно определить характер, наклонности, те цели, которые он ставил перед собой в жизни, его привычки, даже домыслить, над чем он сейчас думает, глядя на меня с плотного листа бумаги... И это чудо совершили несколько, а может, даже один штрих, маленький штрих, связавший все в единое целое, осветивший под определенным углом кажущийся хаос различных черточек...

И, думая сейчас об Арцыгове, я прежде всего вспоминаю не убийство Лесли, не совместные операции, не его общепризнанную храбрость и бесшабашность, а то, как он полулежал в неудобной позе во дворе уголовного розыска и скручивал изувеченными пальцами козью ножку, тоску и безнадежность в глазах, усмешку человека, который понял никчемность своей детской мечты и то, что его короткая жизнь прожита напрасно...

Мы с Арцыговым играли в шахматы в моем кабинете. Первую партию он свел вничью, используя вечный шах. Во второй ему удалось сгруппировать на моем правом фланге довольно внушительные силы, и он начал развивать атаку. Я как раз продумывал комбинацию, которая должна была разрушить все каверзные планы противника, когда в комнату вошел Мартынов.

– Здорово, Мефодий! – крикнул Арцыгов. – Глянь, как его разделяваю.

Мартынов не ответил на приветствие.

– Ты мне нужен.

Сказал он это тихо, спокойно, но, видимо, в его тоне было что-то такое, что насторожило Арцыгова. Арцыгов поднял глаза, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

– Ну? – Мартынов положил руку на его плечо. Арцыгов встал, бросил мне:

– Шахмат не трожь, гимназист, доиграем.

Они вышли. Впереди Арцыгов, сзади Мартынов.

Я вновь склонился над доской и вдруг услышал шум, звон разбиваемого стекла. Еще не понимая, в чем дело, я стремительно выскочил из комнаты в коридор и увидел Мартынова у окна с выбитыми стеклами.

– Что произошло?

– В окно выпрыгнул Чернуха, бежать хотел...

Чернуха... Откуда мне знакома эта кличка? Ну конечно, так Козуля называл пособника Кошелькова в уголовном розыске. Значит...

Перескакивая через ступеньки, я сбежал с лестницы.

Арцыгов лежал на боку, приподнявшись на локте, одна нога была неестественно вывернута в сторону, видимо, он сломал ее при прыжке. Лицо напряжено, рот перекошен, зло поблескивают глаза. Вокруг него несколько сотрудников. Один из них пытался его приподнять.

– Машину и носилки, – сказал Мартынов.

– В больницу повезем?

– Да, в тюремную.

Спросивший, широкоплечий молодой парень, недавно принятый на работу в розыск, в растерянности приоткрыл рот.

– Чего стоишь, твою мать?! – побагровел Мартынов. – Живо за машиной!

Парня как ветром сдуло. Мартынов присел на корточки, заглянул в лицо лежавшему.

– Пушку сам отцепишь или помочь? – Он постучал паль-

цем по кобуре нагана Арцыгова.

Тот хохотнул, попробовал сесть, но вновь упал на локоть.

– Сними, несподручно.

Мартынов осторожно, чтобы не причинить боль, отстегнул пояс с привешенной к нему кобурой, повертел ее в руках и передал одному из бойцов. Арцыгов насмешливо наблюдал за ним черными цыганскими глазами.

– Не соплився, Мефодий, на том свете все свои грехи замолю. Как в песне поется: «И пить будем, и гулять будем, а смерть придет, умирать будем»? Хорошая песня, а?

– Не скоморошничай, – глухо сказал Мартынов. – Где доля в добыче?

– На квартире, в голландской печке, в ящичке...

Арцыгов застонал, закусил нижнюю губу.

– Нога болит?

– Нет, душа... Дай закурить.

Мартынов оторвал клочок газеты, насыпал махорки.

– Свернешь?

– Сверну.

Арцыгов начал сооружать козью ножку. А я не отрываясь смотрел, как он приминает изувеченными с детства пальцами крошки махорки. В глазах его была тоска. О чем он в ту минуту думал? О Ленке, топтавшем его руку, когда она тянулась за кашей в сиротском приюте? О своей постыдной жизни? О Кошелькове? О бандитском золоте, так и не давшем ему власти? О позорной смерти? О товарищах, которых



он предал?

Подъехал «даймлер». Кусков и Мартынов положили Арцыгова на заднее сиденье. Арцыгов вяло махнул рукой стоявшим неподалеку сотрудникам уголовного розыска.

– Прощайте, хлопцы!

Ему никто не ответил. Люди угрюмо молчали, провожая глазами отъезжавшую машину.

Я пошел к себе, заглянув по пути в дежурку. Здесь, как всегда, было шумно, накурено, обсуждалось происшедшее.

– Понимаешь, – громко говорил широкоплечий парень, тот самый, которого выругал Мартынов, – сиганул он на ноги, да только неловко, что ли, вскочил было, да свалился мешком. Я – к нему. Думал, понимаешь, сорвался человек, мало ли что бывает...

– «Мало ли что бывает», – передразнил его боец в треухе. – Арцыгова не знаешь – жох, такого отчаянного во всей Москве не найдешь. И ловкий был, ох ловкий! И вот на тебе, на деньги бандитские польстился... Чего ему эти деньги дались? Когда их только, проклятые, уничтожат...

– Ха, уничтожат!

– А что? Уничтожат. Наш комиссар так и говорил: при коммунизме сортиры из золота делать будем. Понял? Сортиры...

– Ну уж. Сортиры...

– Точно, комиссар наш – парень башковитый. Что сказал – сургучом припечатал. А по мне и сейчас деньги – тьфу,

дерьмо одно!

– А как его уличили?

– А совещание утреннее помнишь? Говорят, Козуля за ширмой под охраной сидел и оглядывал всех. На Арцыгова и указал. Тот, говорит, и есть Чернуха. Так и накрыли. Теперь хана Кошелькову... Мартынова только жаль: верил Арцыгову, как брату родному, а тот ему в душу нагадил...

Я поднялся на второй этаж. Здесь гулял ветер. Двое красноармейцев пытались закрыть разбитое окно фанерным щитом, но он никак не влезал в раму. На полу валялись осколки. Я прошел к себе в комнату. На шахматной доске точно так же стояли точеные фигурки.

Да, Арцыгову доиграть не удалось, но он бы все равно проиграл. Я еще раз проверил задуманную мной комбинацию. В любом варианте мат через четыре хода...

Зашел Виктор, посмотрел на шахматную доску.

– Забавляешься?

– Забавляюсь...

– А знаешь, что Чернуха – это Арцыгов? Только сейчас его увезли, бежать пытался...

– Знаю. Эту партию я играл с ним.

– Так-так, – растерянно сказал Виктор, вертя в пальцах белую ладью. – Вот никогда бы на него не подумал... Ведь так получается, что расстрел на Хитровке он устроил, чтобы спасти Кошелькова: боялся, что Лесли его выдаст. И побег Кошелькову, когда того в Вязьме взяли, он организовал, и

операцию в Немчиновке сорвал... Много он навредил, год нас за нос водил.

– Вреда много, это верно. Только за нос он сам себя водил...

– Что-то непонятно...

Я рассказал Виктору про сиротский приют, про Леньку, про искалеченные пальцы.

– М-да, история... Мало мы все-таки знаем друг друга. Но мне его, Саша, не жалко, нет. Могу тебе повторить, что уже говорил: собственными руками мог бы его убить.

Виктор смахнул фигуры с доски, сложил их в коробку.

В комнату заглянул Груздь.

– Горева не видели?

– Нет, а что?

– Ничего, просто мне нужен товарищ Горев.

– Слыхал? – усмехнулся Виктор, когда Груздь ушел. – Горева товарищем стал называть. Это что-нибудь да значит! Кстати, Горев сегодня так к Медведеву обратился: «Товарищ Медведев».

– Можно привыкнуть!

– Нет, тут дело не в привычке: просто Петр Петрович начинает понимать, на чьей стороне правда. Что ж, давно пора уяснить, что революция – это не только поломанные стулья и сожженные усадьбы...

Все участники нападения на Ленина, за исключением Кошелькова и Барина, уже были арестованы. Но эти двое по-прежнему оставались на свободе. Им везло. Тем не менее круг сужался. Это понимали работники уголовного розыска и сами бандиты. После разоблачения Арцыгова Кошельков стал нервничать, это чувствовалось по его поведению. В его налетах не было прежней дерзости, расчетливой уверенности, на смену им пришла почти болезненная подозрительность, мнительность.

«Психует Яков, – говорил на допросе один из его сообщников. – Намедни чуток Сережку не порешил. «Ты, – говорит, – гад, сыскарям заложить меня хочишь. Все вы, – говорит, – сыскарям мою голову принести заместо подарка желаете, только я ее еще чуток поношу. Я не Чернуха, меня голыми руками не возьмешь...» Оченно за Чернуху и Ольгу сердцем болеет... На розыск напасть грозитя. Только ребята этого не желают, боятся...»

Больше всего мы опасались, что Кошельков уедет из Москвы. Это было бы самым естественным в его положении. Но он по-прежнему оставался в городе. Это мы знали точно. Кошельков словно играл в прятки со смертью. Но играл уже без прежней изобретательности и находчивости, только оттягивая время, а может быть, и на что-то надеясь... Человек

всегда на что-то надеется...

А круг сужался. И наконец наступил день, которого мы так долго ждали.

Сеня Булаев, Груздь, Савельев и я сидели на какой-то промасленной, вонючей ветоши в маленьком сыром сарайчике. За зиму хозяева разобрали его почти наполовину, используя на дрова все доски, которые еще не совсем сгнили. Сквозь широкие проемы в трухлявой крыше чернело небо, скупно присыпанное белесыми звездами. Курить Мартынов запретил, но мы все-таки курили. Отползали по одному к задней стенке сарая и, накрывшись с головой, курили, с трудом удерживая в онемевших пальцах плохо скрученные сигарки. Иногда Савельев, который только оправился после ранения, тихо кашлял в плотно прижатый ко рту платок, и тогда Груздь укоризненно качал головой. Мы находились в этом проклятом сарайчике уже восемь часов. Было два часа ночи.

Слева, в домике с облезшими зелеными ставнями, притаились Мартынов, Горев и Сухоруков. Напротив, на другой стороне переулка, в нижнем этаже двухэтажного особнячка бандитов ждали еще четверо сотрудников во главе с Медведевым. Откуда Медведев узнал, что Кошельков и Сережка Барин будут сегодня ночью в этом домике с зелеными ставнями, мы не знали. «По агентурным сведениям», – сказал Медведев. Но ведь с агентурой работают Мартынов, Савельев и Горев. Медведев непосредственно с агентами розыска

связи никогда не имел. Кто ему мог дать эти сведения?

Под утро ветошь покрылась толстым слоем инея. Савельев кашлял все чаще и чаще. Я засунул окоченевшие руки под рубашку и сразу же почувствовал, как все тело покрылось гусиной кожей. Ноги занемели, и мне казалось, что я не смогу встать. Сеня Булаев, навалив на себя тряпье, свернулся клубком. Сипло дышал Савельев, поджав под себя ноги и нахохлившись, как большая черная птица.

Вдруг предрассветную тишину разорвал дикий протяжный крик:

– А-яу-у-у!

Мы мгновенно вскочили, но Груздь сделал рукой успокаивающий жест.

Сквозь широкую щель между досками я увидел, как откуда-то сверху во двор спрыгнул кот. На мусорном ящике грязно-белая кошка дугой выгнула спину. Вновь звучит призывное:

– Я-ау-у!

Чувствую, как кто-то до боли сжал кисть моей руки. Это Груздь. Мускулы его круглого лица напряжены.

По двору осторожно идут двое. Впереди Сережка Барин, за ним на расстоянии нескольких шагов – Яков Кошельков.

– Я-ау-у!

Кошельков хватается за маузер. Ага, значит, тоже нервы пошаливают!

– Брысь! – машет рукой Сережка Барин.

Но черный кот неподвижен, только вздрагивает кончик вытянутого в прямую линию хвоста.

– Я-ау-у! – тянет он, не спуская своих горящих круглых глаз с подруги. – Я-ау-у-у!

Чувствую за своей спиной сиплое дыхание Савельева, рядом с ним Сеня, в его полусогнутой руке поблескивает никелем браунинг. «У Арцыгова на сапоги выменял», – почему-то мелькнуло у меня в голове.

Сережка подошел к крайнему от нас окну, легонько три раза постучал в ставню. Немножко подождал и еще два раза. Потом закурил папироску. Видимо, ждет ответного сигнала. А что, если сигнала не будет? Нет, Медведев все знает и все предусмотрел. До нас едва слышно доносится стук. Раз-два, раз-два. Это кто-то внутри домика стучит по оконной раме. Так, все в порядке. «Пошли», – кивает Сережка Кошелькову. Но тот не торопится. Не снимая руки с коробки маузера, он озирается по сторонам. Неужто заподозрил что-то неладное?

Сережка поднимается на крыльцо. Бренчит снимаемая цепочка, щелкают отпираемые запоры.

Кошельков не двигается с места. Стоит как изваяние – длинный, сутулый, широко расставив ноги в высоких хромовых сапогах.

Дверь приоткрылась. Барин взялся рукой за дверную скобу, подался вперед и тут же отскочил.

– Шухер!

Мы выскочили из сарая. С крыльца домика скатывается

Сухоруков, за ним Мартынов и Горев.

Вижу, как Сережка в упор стреляет в Мартынова. Одновременно кто-то стреляет в него. Сережка падает под ноги бегущим, о него спотыкается Горев и тоже падает.

Кошельков, согнувшись, бежит к воротам, делая заячьи петли.

– Стой!

Кошельков не оборачивается. В него не стреляют, хотят взять живым.

– Стой, гад! – кричит Груздь, топая сапожищами.

Внезапно бандит остановился: он увидел у ворот группу работников розыска.

– Бросай оружие!

Кошельков отпрыгнул в сторону и, вертя маузером, начал стрелять.

Он вертелся на одном месте, как волчок, по-звериному оскалив зубы.

Рр-ах! Рр-ах! Рр-ах! – зачастили выстрелы.

Вытянув перед собой руку с браунингом, я нажал на спусковой крючок.

Выстрелов не услышал, только почувствовал, что браунинг задергался в моей ладони, как живой. Кошельков начал медленно оседать. Потом попытался подняться и упал на спину, с его головы слетела круглая шапка и покатилась по земле.

Я не мог оторвать глаз от этой катящейся, как колесо, шап-



ки.

Первыми к Кошелькову подбежали Мартынов и Груздь, потом не спеша подошел Медведев. У Мартынова правая щека была залита кровью: пуля Сережки Барина содрала у виска кожу и подпалила волосы. Кроме него ранены еще двое, один из них, шестнадцатилетний паренек, только вчера принятый на работу в розыск, тяжело. Он полусидит на верхней ступеньке крыльца, прижимая руки к животу, и тихо стонет, по лицу катятся слезы. Над ним склонился Горев.

Возле Кошелькова – человек шесть. До меня, как сквозь сон, доносится:

– Живой!

– Какое там живой, на ладан дышит!

– Шесть пуль...

– Почему не обыскиваете?

– В крови он весь...

– Ничего, не замараешься!

Савельев, держа в одной руке револьвер, другой мелко крестится. Это смешно, но никто не улыбается. Мы с Виктором подходим к Сережке Барину. Он убит наповал: пуля, выбив передний зуб, вошла в рот и вышла через затылок. Рядом с ним валяется наган.

Наконец появился врач, маленький, толстый, с заспанными глазами. Он осмотрел раненного в живот паренька и приказал отправить его в больницу, затем сделал перевязку Мартынову, взглянул на Кошелькова и подошел к нам. Не сгиба-

ясь, брезгливо бросил взгляд на труп Сережки Барина.

– Ну-с, этому медицинская помощь не понадобится. Бандит?

– Да.

– Что и говорить, рожа разбойничья.

– Кошельков выживет?

– Это тот? – Врач через плечо, не поворачиваясь ткнул пальцем в сторону Кошелькова, над которым стоял фотограф с треножником. – Удивляюсь, что до сих пор жив: кровавое решето. Закурить не найдется?

Виктор достал кисет.

– Махорочка? Один мой коллега считает, что для здоровья она полезней. Знаете, конечно, профессора Гераскина?

Я ответил, что профессора Гераскина мы, к сожалению, не знаем.

– Большой оригинал-с! Про него рассказывали, что он...

– Белецкий, Сухоруков! – крикнул Мартынов.

Надо было перенести Кошелькова в пролетку. Он оказался неожиданно тяжелым. Мы вчетвером еле его подняли.

На губах раненого пузырилась кровавая пена, он сипло дышал. Голова откинута, на изогнутой шее – острым бугром кадык. После того как Кошелькова положили на солому, Виктор подложил ему под голову свернутый ватник и начал рукавом стирать с губ кровавую пену.

– Не старайтесь, молодой человек, – усмехнулся врач, – он уже больше чем наполовину в лучшем мире. Так и умрет,

не приходя в сознание. Хорошо еще, если живым довезете. Плюньте!

– Иди ты, знаешь куда?!

Врач пожал плечами.

Вот и кончено с Яковом Кошельковым. Банда ликвидирована... И мне вспомнились слова Мартынова, когда он беседовал на даче с Клинкиным: «Ваше дело такое – сегодня гуляешь, а завтра – в расход. Бандитское дело, одним словом».

Кошелькову в этом отношении повезло: он не расстрелян, а убит в перестрелке.

Его приятелей ждет худшая участь... А впрочем, разница невелика...

– Саша! Ты чего подарки разбрасываешь?

Виктор протянул мне зажигалку в форме маленького пистолета, ту самую, которую я отдал Кошелькову. Она, видимо, выпала из кармана умирающего, когда мы его укладывали в пролетку.

– Спасибо.

Кучер старательно объезжал большую лужу, похожую своими очертаниями на отставленный в сторону большой палец руки. Пролетка сильно накренилась.

– Эй, дядя, поосторожней! – крикнул Виктор, упираясь руками в навалившееся на него горячее тело Кошелькова. – Вывернешь!

Воспользовавшись тем, что он отвернулся, я размахнулся и бросил зажигалку в самую середину лужи...

Не доезжая нескольких кварталов до розыска, врач попросил остановиться.

– Счастливо, – сказал Виктор. – Если что не так, извините. Но не люблю, когда об умирающих так говорят.

– Это делает вам, разумеется, честь, – иронично отозвался доктор. – Только в следующий раз я бы рекомендовал более тщательно подбирать слова и не тыкать.

– Чудак-человек! – фыркнул Виктор, когда пролетка тронулась. – Как же я его к чертовой матери на «вы» посылать буду?

Отвезя Кошелькова в уголовный розыск, я отправился за ордером, который завхоз выписал накануне. Я давно мечтал по-настоящему одеть Тузика, по-прежнему ходившего оборванцем.

На складе мне выдали совершенно новый картуз с лакированным козырьком, хромовые сапоги, малиновые галифе, кожаную куртку и несколько косовороток. Косоворотки в ордере не числились, кладовщик их дал по доброте душевной или, как он выразился, «не по списку, а по дурости».

Разложив все это бесценное имущество у себя на кровати, я начал прикидывать, подойдет ли оно Тузику. Неожиданно вошел Виктор.

– Как Кошельков?

– Умер. А это что?

– Для Тузика... Галифе не великоваты?

Виктор взял в руки галифе, повертел их, помял и бросил на кровать.

– Подойдут?

Он помолчал.

– Ты чего?

Сухоруков стоял у окна и смотрел во двор.

– Виктор!

– Нет больше Тузика, Саша. Задушили его... за Кошель-

кова.

Я для чего-то сложил по выутюженным складкам галифе, завернул их вместе с курткой и сапогами в бумагу.

Косоворотки остались лежать на кровати... Видимо, их тоже надо положить.

Я вновь развернул сверток, положил косоворотки, запаковал, аккуратно перетянул крест-накрест шпагатом. Все это теперь уже ни к чему. Нет Тузика. Он больше никогда не придет в эту комнату, не будет читать этих книг, слушать рассказы Груздя, спорить со мной о сказках Андерсена...

– Зачем нужно было Медведеву привлекать его к операции?

– Он сам пришел, Саша.

– Сам, сам... Что он понимал?! Ребенок...

– Он все понимал, Саша.

Виктор подошел ко мне, обнял.

– Не надо, Саша.

Так меня обнимала в день смерти отца Вера и так же говорила: «Не надо, Саша». А почему, собственно, не надо? Почему человек должен сдерживать слезы, если ему хочется плакать? И я плакал. И слезы скатывались по моим щекам. И мне не было стыдно.

Только после смерти Тузика я узнал о той роли, которую он сыграл в ликвидации банды Кошелькова.

Тузик родился и вырос на Хитровке. Его приютила Севостьянова вместе с другим беспризорником, Сережкой Чер-

ным: Анне Кузьминичне нужны были мальчишки для выполнения различных деликатных поручений.

Тузик боялся Севостьяновой, но еще больше он боялся Кошелькова, который ни во что не ставил человеческую жизнь. В 1918 году Кошельков на его глазах убил Сережку Черного: мальчишка слишком много наболтал на допросе.

– Не будешь держать язык за зубами, и с тобой так будет, – нравоучительно сказал он, встретившись с расширившимися от ужаса глазами Тузика.

Дружба Тузика со мной, Виктором, а затем и с Груздем насторожила Севостьянову. Но вскоре она убедилась, что Тузик не «продавал» Хитровку уголовному розыску. Севостьянова несколько успокоилась. Правда, она теперь опасалась давать Тузику ответственные поручения, но по-прежнему не сомневалась, что он будет молчать.

Тузик хорошо знал неписанные законы Хитровки, карающие измену смертью. Он держал язык за зубами, держал до тех пор, пока банда Кошелькова не напала на Ленина...

Трудно было решиться, но он понимал, что иначе поступить нельзя.

И тогда он написал мне: «Саша! Есть об чем поговорить. Очин важно!!!»

А когда я не пришел в «Стойло Пегаса», он отправился к Медведеву.

О доме в Даевом переулке на Хитровке знали немногие, а о том, что двадцать первого апреля там будет Кошельков и

Барин, – только Тузик, потому что именно ему поручил Кошельков проверить, нет ли за домом наблюдения. Севостьянова была арестована, и некому было предупредить Кошелькова, что Тузику доверять больше нельзя...

Обо всем этом мне рассказал Виктор. А потом мы молчали. И в этом молчании было больше чувств и мыслей, чем в словах. Мы молча говорили о Тузике и Кошелькове, об Арцыгове и Мартынове, о Нюсе, о нашем будущем, о Медведеве. Мы вспоминали и мечтали. И все время я чувствовал на своем плече руку друга, ощущал ее теплоту и суровую нежность. А затем мы пошли к Леониду Исааковичу. Там мы застали Сеню Булаева, Нюсю и Груздя. Матрос принес спирт. И мы его пили. Пили все: Леонид Исаакович, Виктор, я и Нюся. Сеня пытался было острить, но никто не улыбнулся.

У всех были серьезные лица – это были поминки по Тузику.

Когда мы расходились, Леонид Исаакович пошел меня провожать. Худой и долговязый, в котелке, с тростью, он шел, смотря себе под ноги и старательно обходя лужи. В воздухе чувствовался аромат весны. На деревьях набухали почки. У Мясницких ворот Леонид Исаакович остановился.

– Пожалуй, я пойду домой, Саша.

– Проводить?

– Нет, не беспокойтесь. Кому я нужен? Ни золота, ни бриллиантов. Я хотел бы только сказать вам одну вещь, Саша. Вы не возражаете? – Он поднял на меня свои бледно-го-



лубые глаза, и его куцые брови приподнялись. — Это, наверно, совсем ни к чему, но мне очень хочется сказать. Я не всегда был одинок, Саша. У меня был сын. Может быть, и не вундеркинд, но сын, которого я могу пожелать каждому своему другу. И в пятнадцатом году мой сын хотел бежать на фронт. Я его отговорил. Я ему сказал: «Война — дело мужчин, а не детей, Изя». И он меня послушал. А в семнадцатом, когда из Кремля выбивали юнкеров, я ему так не говорил. И мой сын взял винтовку и ушел. Он погиб во время перестрелки. И теперь я совсем одинок. И когда я умру, никто не прочтет надо мной молитву. Но я знаю, что сделал честно, не повторив тех слов. В 1917 году это были бы лживые слова. Революция — дело и детей, и женщин, потому что она для всех, кто недоедал. Мне тяжело, Саша, но зато я не обманул своего мальчика, и я знаю, что перед смертью он думал: да, мой отец честный человек. И еще я знаю, что о моем Изе будут вспоминать тысячи мальчиков, русских и евреев, украинцев и башкир, мальчиков, которым уже не придется воевать. Это будут счастливые мальчики, они не будут плакать, а будут только смеяться. Это очень хорошо, Саша, всю жизнь смеяться. Смеяться утром, днем, вечером. Мой брат говорил, Саша, морщины должны быть только следами бывших улыбок. А может быть, это не он говорил? Но все равно это хорошо сказано. А теперь спокойной ночи, Саша. Пусть у вас все ночи будут спокойными...

Он резко повернулся и зашагал по улице, выставив, как

слепой, перед собой трость, нескладный, в сдвинутом наборе стареньком котелке.

Утром меня вызвали к Медведеву печатать докладную в МЧК.

Машинистка заболела, а Горев и Савельев, которые справлялись с этим делом не хуже ее, находились на задании. И я печатал под диктовку Александра Максимовича: «...При осмотре убитых обнаружено несколько бомб, два маузера, один наган и браунинг Ленина, а также документы МЧК и дневник Кошелькова, в котором он клянется «мстить до последней капли крови» своим преследователям, особенно за арест своей невесты Ольги Федоровой.

В том же дневнике выражено сожаление, что не удалось убить т. Ленина. Браунинг мною переслан председателю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому для вручения Владимиру Ильичу.

Направляю Вам дневник Кошелькова, карточки убитых бандитов и деньги в сумме шестьдесят три тысячи рублей, найденные у Кошелькова при осмотре в заднем кармане, через который прошла пуля...»

Медведев диктовал долго, обдумывая каждое слово. А я с нетерпением ждал, когда он закончит: мне необходимо было с ним поговорить. Только к старости, и то не всегда, человек осваивает великое искусство делиться своими переживаниями с самим собой. А мне тогда не было и девятнадцати. События этих дней вызвали у меня целый вихрь противоречи-

вых мыслей и чувств, которые мог привести в стройную систему только один человек – Медведев.

Но разговор, которого я ждал, не состоялся. Александр Максимович только спросил:

– Тузика когда хоронят?

– Завтра.

– Где?

– На Немецком кладбище.

И все. Больше в тот день Медведев со мной не говорил.

Мне было горько и обидно. Я обвинял Александра Максимовича во всех смертных грехах, среди которых не последнее место занимала черствость. Только позднее, когда я стал старше, я понял, что Медведев просто не видел здесь никаких сложностей. Медведев был бойцом, а боец, идущий в атаку, не оборачивается, если увидит, что его товарища сразила пуля. Он весь устремлен вперед. Для Медведева все события, связанные с делом Кошелькова, безвозвратно отошли в прошлое. Ему просто некогда и ни к чему было к ним возвращаться. Впереди его, солдата революции, ждало много неотложных дел, еще не осуществленных замыслов, которыми и были заняты все его мысли, а банда Кошелькова уже ликвидирована. Ее нет, а вместе с ней исчезли и все события, которые были связаны с этим словом «ликвидирована».

Хоронили Тузика на Немецком кладбище. Стоял погожий весенний день. Ночью прошел сильный дождь, и на мостовой кое-где поблескивали еще не высохшие под лучами солнца

лужи. Гроб, реквизированный в какой-то конторе похоронных принадлежностей, был непомерно большим, и щуплое маленькое тело едва виднелось среди красных лент.

Мертвым Тузик выглядел взрослее, ему теперь можно было дать лет семнадцать – девятнадцать. В похоронах участвовала почти вся особая группа: Сеня Булаев, Горев, Савельев, Мартынов... Пришел и Леонид Исаакович, торжественный, в своем неизменном котелке.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.